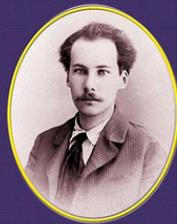


Андрей
Белый

Сочинения



Симфонии

Андрей Белый

Симфония

«Public Domain»

1901

Белый А.

Симфония / А. Белый — «Public Domain», 1901 — (Симфонии)

«Исключительность формы настоящего произведения обязывает меня сказать несколько пояснительных слов. Произведение это имеет три смысла: музыкальный, сатирический и, кроме того, идейно-символический. Во-первых, это – симфония, задача которой состоит в выражении ряда настроений, связанных друг с другом основным настроением (настроенностью, ладом); отсюда вытекает необходимость разделения ее на части, частей на отрывки и отрывки на стихи (музыкальные фразы); неоднократное повторение некоторых музыкальных фраз подчеркивает это разделение...»

Содержание

| | |
|--------------------|----|
| Вместо предисловия | 5 |
| Часть первая | 6 |
| Часть вторая | 27 |
| Часть третья | 43 |
| Часть четвертая | 57 |

Андрей Белый

Симфония

(2-я, драматическая)

Вместо предисловия

Исключительность формы настоящего произведения обязывает меня сказать несколько пояснительных слов.

Произведение это имеет три смысла: музыкальный, сатирический и, кроме того, идейно-символический. Во-первых, это – симфония, задача которой состоит в выражении ряда настроений, связанных друг с другом основным настроением (настроенностью, ладом); отсюда вытекает необходимость разделения ее на части, частей на отрывки и отрывки на стихи (музыкальные фразы); неоднократное повторение некоторых музыкальных фраз подчеркивает это разделение.

Второй смысл – сатирический: здесь осмеиваются некоторые крайности мистицизма. Является вопрос, мотивировано ли сатирическое отношение к людям и событиям, существование которых для весьма многих сомнительно. Вместо ответа я могу посоветовать внимательнее приглядеться к окружающей действительности.

Наконец, за музыкальным и сатирическим смыслом для внимательного читателя, может быть, станет ясен и идейный смысл, который, являясь преобладающим, не уничтожает ни музыкального, ни сатирического смысла. Совмещение в одном отрывке или стихе всех трех сторон ведет к символизму...

*Москва,
26 сентября 1901 г.*

Часть первая

Стояла душная страда. Мостовая ослепительно сверкала.
Трещали извозчики, подставляя жаркому солнцу истертые, синие спины.
Дворники поднимали прах столбом, не смущаясь гримасами прохожих, гогоча коричнево-пыльными лицами.

На тротуарах бежали истощенные жаром разночинцы и подозрительные мещане.
Все были бледны, и надо всеми нависал свод голубой, серо-синий, то серый, то черный, полный музыкальной скуки, вечной скуки, с солнцем-глазом посреди.
Оттуда лились потоки металлической раскаленности.
Всякий бежал неизвестно куда и зачем, боясь смотреть в глаза правде.

Поэт писал стихотворение о любви, но затруднялся в выборе рифм, но посадил чернильную кляксу, но, обратив очи к окну, испугался небесной скуки.
Ему улыбался свод серо-синий с солнцем-глазом посреди.

Двое спорили за чашкой чаю о людях больших и малых. Их надтреснутые голоса охрипли от спора.

Один сидел, облокотившись на стол. Он поднял глаза к окну. *Увидел.* Оборвал все нити разговора. Поймал улыбку вечной скуки.

Другой наклонил к нему свое подслеповатое лицо, изрытое оспой, и, обрызгивая слюной противника, докрикивал свое возражение.

Но тот не пожелал обтереть лицо свое платком; он удалился в глубокое, окунулся в бездонное.

А торжествующий противник откинулся на спинку стула, глядя на молчащего из-под золотых очков добрыми, глупыми глазами.

Он ничего не знал о разоблачении последних покровов.

А на улицах, где было душно и ослепительно бело, проехали поливальщики в синих куртках.

Они сидели на бочках, а из-под бочек лилась вода.

Дома гора горой топорщились и чванились, словно откормленные свиньи.

Робкому пешеходу они то подмигивали бесчисленными окнами, то подставляли ему в знак презрения свою глухую стену, то насмехались над заветными мыслями его, выпуская столбы дыма.

В те дни и часы в присутственных местах составлялись бумаги и отношения, а петух водил кур по мощеному дворику.

Были на дворике и две серые цесарки.

Талантливый художник на большом полотне изобразил «чудо», а в мясной лавке висело двадцать ободранных туш.

И все это знали, и все это скрывали, боясь обратить глаза свои к скуке.

А она стояла у каждого за плечами невидимым, туманным очертанием.

Хотя поливальщики утешали всех и каждого, разводя грязь, а на бульваре дети катали обручи.

Хотя смеялся всем в глаза свод голубой, свод серо-синий, свод небесный и страшный с солнцем-глазом посреди.

Оттуда неслись унылые и суровые песни Вечности великой. Вечности царящей.

И эти песни были как гаммы. Гаммы из невидимого мира. Вечно те же и те же. Едва оканчивались, как уж начинались.

Едва успокаивали, – и уж раздражали.

Вечно те же и те же, без начала и конца.

День кончался. На Пречистенском бульваре играла военная музыка, неизвестно зачем, и на бульвар пришли многие обитатели домов и подвалов, неизвестно откуда. Ходили взад и вперед по бульвару. Стояли перед музыкой, тесня и толкая друг друга.

Отпускали шуточки, наступали медвежьими лапами на платье дам; а человек с палочкой все махал и махал ею. Трубачи, насупив брови, выводили: «Смейся, паяц, над любовью разбитой, смейся, что жизнь отравлена навсегда».

Зелено-бледный горбач с подвязанной щекой гулял на музыке, сопровождаемый малокровной супругой и колченогим сынишкой.

На нем было желтое пальто, огненные перчатки и громадный цилиндр. Это был врач городской больницы.

Еще вчера он отправил в сумасшедший дом одного чахоточного, который в больнице внезапно открыл перед всеми бездну.

Сумасшедший тихо шептал при этом: «Я знаю тебя, Вечность!»

Все ужаснулись, услышав о скрываемом, призвали горбатого врача и отправили смельчака куда не следовало.

Это было вчера, а сегодня горбатый врач гулял на музыке с малокровной супругой и колченогим сынишкой...

В модном магазине работал «лифт». Человек, управлявший занятой машиной, с остервенением летал вверх и вниз вдоль четырех этажей.

Везде стояли толпы дам и мужчин, врывающиеся в вагончик, давя и ругая друг друга.

Хотя тут же были устроены лестницы.

И над этой толкотней величаво и таинственно от времени до времени возглашалось деревянным голосом: «Счет».

У окон книжного магазина стоял красивый юноша в поношенной тужурке, с непомерно грязной шеей и черными ногтями.

Он сентиментально смотрел на экземпляр немецкого перевода сочинений Максима Горького, пощипывая подбородок.

Перед книжным магазином стояла пара рысаков. На козлах сидел потный кучер с величавым лицом, черными усами и нависшими бровями.

Это был как бы второй Ницше.

Из магазина выскочила толстая свинья с пяточковым носом и в изящном пальто.

Она хрюкнула, увидев хорошенькую даму, и лениво вскочила в экипаж.

Ницше тронул поводья, и свинья, везомая рысаками, отирала пот, выступивший на лбу.

Студент постоял перед окном книжного магазина и пошел своей дорогой, стараясь держать себя независимо.

Много еще ужасов бывало...

Темнело. На востоке была синяя дымка, грустно туманная и вечно скучная, а с бульвара неслись звуки оркестра.

Каждый точно сбросил с плеч свою скуку, а мальчишки и девчонки бегали по улицам с букетиками незабудок.

В тот час по всем направлениям можно было встретить угрюмых самокатчиков. В поте лица они работали ногами и гибли спины; они угрожали звонками и тарашили глаза, перегоня друг друга.

В тот час философ возвращался домой своей деланной походкой, неся под мышкой *Критику чистого разума*.

Ему встретился на извозчике господин в котелке с рыжими отпрысками бороды.

Он сосал набалдашник своей трости, напевая веселую шансонетку.

Обменялись поклонами. Философ с деланной небрежностью приложил руку к фураялке, а сидящий на извозчике раздвинул рот, чтобы обнаружить свои гнилые зубы, и приветственно поворачивал кистью руки.

Не был он умником, но отец его отличался умом...

И то место, где они взаимно почтили себя приветствиями, опорожнилось... Справа виднелась спина философа и корешок *Критики чистого разума*, а слева – согбенный извозчик погонял свою клячу, увозя седока.

А над пустым местом из открытого окна раздавались плачевные звуки: «Аууу, аууу».

Это консерваторка пробовала голос.

Философ позвонил. И когда ему отворили, он швырнул на стол *Критику чистого разума*, а сам в беспредметной скуке упал на постель.

Последняя его мысль была такова: «Кант без Платона – туловище без головы». Он заснул и в мыслях своих был как бы без головы.

А бюст Иммануила Канта укоризненно качал головой и показывал язык спящему философу, стоя на письменном столе.

Философ спал. А над ним сгущались тени, вечно те же и те же, суровые и нежные, безжалостно мечтательные.

Сама Вечность разгуливала в одинокой квартире; постукивала и посмеивалась в соседней комнате.

Садилась на пустые кресла, поправляла портреты в чехлах.

Уже книжные шкафы бросали суровые тени, и тени встречались и, встречаясь, сгущались... Точно прятались в тени.

Но там никого не было, кроме Иммануила Канта и Платона, стоявших в виде поясных бюстов на столе.

Кант жаловался Платону на тугоумие молодого философа, а философ спал в час вечерних сумерек с бледным, ироническим лицом и сжатыми губами... И малый ребенок мог придушить его.

Его обдувал свежий ветерок после жаркого дня, ворвавшийся из открытого окна.

Из открытого окна неслись удары по мягкому: это жители подвального этажа выбивали пыль из мебели, вытащив ее на двор.

И он проснулся; и первую мыслью его была мысль о невозможности соединений учений Канта и Платона; и он поднял усталую голову со скомканных подушек; и он содрогнулся от вечернего холода.

И прямо в глаза ему смотрел резко очерченный месяц на темной, эмалевой сини... красный месяц.

Он вскочил в ужасе и схватил себя за голову; как безумно влюбленный, впился в бледнеющий круг.

Если бы снаружи заглянуть к нему в окно, страшно было бы увидеть лицо его, бледное, затененное, усталое.

Вечно так же и так же он глядел в дни весенних полнолуний.
Его нервы шалили, и он обратился к валерьяновым каплям.

А в соседней комнате висело огромное зеркало, отражавшее в себе вечно то же и то же.
Там был ужас отсутствия и небытия.
Там лежала на столе *Критика чистого разума*¹.

Была полночь. Улицы опустели.
Была одна улица вдоль сонной реки. К реке сбегали четыре переулочка.
Это был Первый Зачатьевский, Второй Зачатьевский, Третий Зачатьевский и, наконец, Четвертый Зачатьевский.
В небе словно играли вечные упражнения. Кто-то брал пальцем ту и другую ноту.
Сначала ту, а потом другую.
На опустелом тротуаре, озаренный фонарными огнями, семенил человечек в пенсне на вытянутом носе.

Ноги его были в калошах. Под мышкой он нес зонтик, хотя было тепло и сухо.
В руках он держал фолиант. Это было житие святого.
Он шагал неслышно, проплывая, как тень.
Он шел неизвестно откуда, и никто не мог сказать, куда он придет.
С противоположной стороны улицы открыли окно и подошли некие к окну.
То были две женщины с равнодушными, бледными лицами; они были худощавы и в черных чепцах.
Они были в черном. Старшая равнодушно указала на прохожего, заметила: «Поповский».
А уже Поповский проходил. Никакая сила не могла сказать, куда он придет.
Была отчаянная скука. В небе играли вечные упражнения; словно кто брал пальцем ту и другую ноту.
Сначала ту, а потом другую.
Едва кончал, как уже начинал.

Улица выходила на площадь. Поповский уже брел вдоль площади.
На площади коптил керосиновый фонарь.
Став против луны, можно было усмотреть над фонарем огромный черный столб копоти.

Ночью ограбили квартиру. Два хитровца выломали замки, но, не найдя лучшего, унесли старые калоши.

Утром еще солнце не взошло, а уже камни белели. Извозчики не выезжали. Пешеходы не мешали тишине.

Было светлое безлюдие.

В подвалах спали. Спали на чердаках. Спали в палатах. Бедные и богатые, умные и глупые – все спали.

Иные спали, безобразно скорчившись, иные, – разинув рты. Иные храпели. Иные казались мертвыми.

¹ «Критика чистого разума» – сочинение Иммануила Канта (1724–1804) – немецкого философа и ученого, родоначальника немецкой классической философии.

Все спали.

В палате для душевно-больных спали на одинаковых правах со здоровыми; лишь один душевно-больной меланхолик, мучимый коликами, ходил вдоль больничных постелей.

С ироническим, бледным лицом он пожимал плечами, наклоняясь к животно-глупым лицам спящих. Вдруг он закрыл лицо руками и закатился беззвучным хохотом.

Он кричал надтреснутым голосом: «Они не могут не спать и не есть! Они раздеваются для того, чтобы, накрывшись одеялом, омертветь! Они не могут не класть себе в рот посторонних предметов!..

Что они делают?»

Но тут сильная боль в желудке прервала его размышления. Он насупил брови.

Грозный, солнечный луч ударил в оконную раму и озарил своим алым блеском сухое, безумное лицо.

И словно обуянный вещим предчувствием, он погрозил своим длинным, худым пальцем в окно, откуда рвался блеск розового утра.

Где и здоровые спали на одинаковых правах с больными.

Поповский был консерватор. Его ненавидели свободомыслящие за свободное отношение к их воззрениям.

Светлые головы супили свои безбровые лбы перед тщедушной фигуркой.

Он имел дерзость не бояться холостых зарядов, а настоящие пролетали над его головой, потому что очень мал ростом был Поповский.

Поповский был церковник. Он чурался диавола и прогресса. Он полагал, что мы доживаем последние дни и что все, что блещет талантом, от диавола.

На знакомых он подмечал налет бесовщины, а по вечерам читал Евангелие.

Поповский был насмешник. Его тонкие губы всегда кривились от чуть видной усмешки. Во всяком мнении он отыскивал смешное и все браковал.

Таков был Поповский, и никакая сила не могла его сделать иным.

Еще с утра Поповский ходил по своим знакомым рассказывать о своей начитанности.

Он был в калошах и держал под мышкой ненужный ему зонтик.

По разным направлениям тащились конки, а в небесах сиял свод, серо-синий свод, страшный и скучный, с солнцем-глазом посреди.

Над туманным городом играли вечные упражнения. И скука, как знакомый, милый образ, танцевала на семи холмах.

И там... наверху... кто-то, пассивный и знающий, изо дня в день повторял: «сви-нар-ня».

Все то же и то же повторял изо дня в день.

В тот час зелено-бледный горбач, отправляясь в больницу, завязал свою щеку: у него болели зубы.

Он плохо завязался. Над головой его торчали два ушка.

И еще раз кто-то *знающий* сказал равнодушно: «свинарня», а петух на мощеном дворике схватил за гребень своего противника.

Тут все съехало с места, все сорвалось, и осталось... *бездонное*.

А минуты текли. Пешеходы сменялись, как минуты... И каждый прохожий имел свою минуту прохождения по каждому месту.

Каждый все делал в известное время: не находилось ни одного, кто бы сумел обойтись без времени.

А время текло без остановки, и в течении времени отражалась туманная Вечность.

Среди дня Поповский обошел пять мест и в пяти местах говорил о пяти предметах.

В одном месте он развивал мысль о вреде анализа и преимуществе синтеза.

В другом месте он высказал свой взгляд на Апокалипсис².

В третьем месте он ничего не сказал, потому что все было сказано; здесь он сыграл партию в шахматы.

В четвертом месте он говорил о суете земной, а в пятом месте его не приняли.

Повесил голову маленький Поповский и пошел в шестое место.

На большой улице Поповский встретил своего врага, демократа.

Тот был изящно одет; его обтянутая перчаткой рука сжимала алую розу.

Поповский шел, куда хотел, говорить о церковноприходских школах, а демократ прогуливался с тростью в руке.

Обменялись взаимным презрением. Поклонились. Еще вчера демократ осыпал бранью Поповского в конторе либеральной газеты.

А солидный его превосходительство, редактор-либерал, багровый и почтенный, прибавил к резкостям демократа еще свои резкости.

Это у них называлось идти в уровень с веком.

Это было вчера... А сегодня демократ гулял по улицам с алой розой в руке, устремив к небу свои робкие, мечтательные глаза.

Уже он забывал Поповского; ему в глаза глядел свод голубой, одинаковый для либералов и консерваторов.

Тогда проехали поливальщики, ведущие борьбу с пылью.

Это были равнодушные люди, сидящие на бочках.

Из-под бочек обильно лилась вода, уснащая улицы ненужной жидкостью и разводя грязь.

А минуты текли. Пешеходы сменялись, как минуты... И каждый прохожий имел свою минуту прохождения по каждому месту.

И каждая бочка в известную минуту опорожнялась. Поливальщик ехал наполнять ее.

И тогда демократ увидел свою сказку, сказку демократа.

По улице ехал экипаж, а на козлах сидел окаменелый кучер в цилиндре и с английским кнутом.

В экипаже сидела сказка, сказка демократа.

У нее были коралловые губы и синие, синие глаза, глаза сказки.

Она была жена доброго морского кентавра, получившего права гражданства со времен Бёклина³.

Прежде он фыркал и нырял среди волн, но затем вознамерился обменять морской образ жизни на сухопутный.

Четыре копыта на две ноги; потом он облекся во фрак и стал человеком.

Ее муж был кентавр, а сама она была сказка и морская нимфа.

² *Апокалипсис* – «Откровение Иоанна», одна из книг Нового завета. Содержит пророчества о «конце света», о борьбе Христа с антихристом, «страшном суде», «тысячелетнем царство божьем».

³ *Бёклин* Арнольд (1827–1901) – швейцарский живописец. Представитель символизма и стиля модерн. В фантастических сценах сочетал надуманную символику с натуралистической достоверностью. В некоторых из его картин предстает мир мифических существ: кентавров и др.

Так проехала сказка, сказка демократа, чуть-чуть улыбнувшись своему мечтателю, пронзив его синим взглядом.

Обрызгав грязью почтенного старичка в старом пальто.

Закричал почтенный старик, пригрозив улетающей сказке. Обтер свое окаменевшее грязью лицо и шипел: «Чтоб черт побрал богатых...»

А потом продолжал свой путь в редакцию «Московских Ведомостей», относя передовую статью.

Над ее консерватизмом поглумился вдоволь демократ, изящный и с иголки одетый.

Но это было на другой день... А теперь он замечтался с алой розой в руке.

И не видел, и не слышал. Вспоминая свою сказку, улыбаясь образу синеглазой нимфы.

В огромном магазине всего модного усердно работал «лифт», и человек, управлявший занятной машиной, с остервенением носился вдоль четырех этажей.

Едва он причаливал ко второму этажу, как уже на третьем его ожидали с глупыми, нетерпеливыми лицами; едва он причаливал к третьему, как в первом поднимался ропот негодования.

И среди этого содома то тут, то там раздавались таинственные голоса: «Счет».

В подвальном этаже чирикала канарейка. Здесь работал сапожник, созерцая мелькавшие ноги пешеходов.

Проходили сапоги со скрипом, желтые туфли, проходило отсутствие всяких сапог.

Все это видел лукавый сапожник и весело вертел шилом, протыкая свежую кожу.

А по Рязанской железной дороге катился товарный поезд с черкасскими быками; быки выставляли свои сонные морды, а паровоз, как безумный, кричал.

Он был злорадный и торжествовал, подвозя поезд с быками к городским бойням.

И все это знали. И каждый боялся взглянуть в глаза правде. И у каждого за плечами стояла скука, среди мелочей открывая бездонное.

И обернувшийся смельчак внезапно смирился ее грозющим пальцем.

Она была всего ужасней белым, солнечным днем...

Прокатил морской кентавр, получивший права гражданства со времен Бёклина.

От его доброго, полного силуэта несло изящной простотой. Его увозили вороньи рысаки.

Он *думал*...

Молодой философ читал «Критику чистого разума», сидя в качалке, раскачиваясь ногами.

Он то углублялся в чтение, то ронял книгу на колени и бился головой о спинку качалки, обдумывая прочитанное, импровизируя философские фокусы и психологические штучки.

Так, прочтя о времени и пространстве как априорных формах познания, он стал придумывать, нельзя ли заставить себя ширмами, спрятавшись и от времени и от пространства, уйти от них в бездонную даль.

В ту минуту все было сорвано, все струны, все нити разорвались, а ему в глаза улыбался свод голубой, свод серо-синий, полный музыкальной скуки, с солнцем-глазом посреди.

И он бросил чтение. Подошел к огромному зеркалу, висевшему в соседней комнате. Взглянул на себя.

Перед ним стоял бледный молодой человек, недурной собой, с шевелюрой, всклокоченной над челом.

И он показал язык бледному молодому человеку, дабы сказать себе: «Я безумный». И молодой человек ему ответил тем же.

Так они стояли друг перед другом с разинутыми ртами, полагая один про другого, что тот, другой, и есть поддельный.

Но кто мог сказать это наверняка?

Чтоб рассеяться, он подошел к разбитому пианино. Сел на табурет и открыл крышку.

И стало пианино выставлять свою нижнюю челюсть, чтобы сидящий на табурете бил его по зубам.

И философ ударил по зубам старого друга.

И пошли удары за ударом. И прислуга философа затыкала уши ватой, хотя была она в кухне и все двери были затворены.

И этот ужас был зуд пальцев, и назывался он *импровизацией*.

В соседнюю комнату была дверь открыта. Там было зеркало. В зеркале отражалась спина сидящего на табурете перед разбитым пианино.

Другой сидящий играл на пианино, как и первый сидящий. Оба сидели друг к другу спиной.

И так продолжалось до бесконечности...

Но позвонили. И философ, закрыв крышку пианино, ушел в соседнюю комнату.

Комната осталась пуста: только *Критика чистого разума* лежала на столе.

Вошедшая женщина в черном равнодушно глядела на *Критику чистого разума*, подперев рукой в перчатке свое худое, морщинистое лицо.

В руке она держала ридикюль... Уже солнце склонялось; из огненно-белого становилось золотистым...

В нижнем этаже кому-то выдернули зуб.

Но вошел причесанный философ и любезно попросил свою гостью в гостиную.

Гостиная мебель была в чехлах. Черная гостья села боком к огромному зеркалу. Она была родственницей и завела речь о печальных обстоятельствах.

У нее умер сын. Сегодня она схоронила его. Теперь она осталась одна во всем мире.

Никого у нее не было. Никому она не была нужна.

Получала она пенсию. Уже десять лет ходила в черном.

Так она говорила. Слезы не капали из глаз.

И голос ее был такой же, как всегда. Постороннему казалось бы, что на губах ее мелькала улыбка.

Но это было горе.

Она рассказывала о смерти сына таким же тоном, каким вчера заказывала обед, а два дня тому назад она так же жаловалась на дороговизну съестных припасов.

Уже она привыкла к печали; мелочи и важные события вызывали в ней одинаковое чувство.

Она была тиха в своей скорби.

Уже она кончила и сидела, опустив голову, перебирая пальцами в перчатках свой ридикюль.

А он стоял перед ней в деланной позе, чистил ногти и говорил: «Нужно смотреть на мир с философской точки зрения».

Но тут позвонили. Он попросил по-родственному обождать, а сам поспешил выйти навстречу гостю...

В соседней комнате стоял Поповский, держа под мышкой житие святых Козьмы и Дамиана.

Пожали, руки. Заговорили так, как будто оба они были ангелами.

С невинной улыбкой обсуждали состояние погоды... Потом молчали... Потом философ ударил рукой по *Критике чистого разума* и сказал: «Тут есть одно место...»

И все пошло как по писаному.

Скоро Поповский скривил свои тонкие губы: это означало, что он – насмешник; скоро он стал оглядываться, нет ли здесь черта; это означало, что он – церковник.

А его противник с красиво-деланными жестами расхаживал по комнате, выводя из Канта Шопенгауэра.

Скоро все смешалось: были слышны лишь отрывочные восклицания: «Постулат... Категорический императив... Синтез...»

...А... в соседней комнате сидела черная гостья, подставив свой профиль огромному зеркалу.

Она ждала хозяина по-родственному и часто моргала своими крохотными, карими глазками.

Ничего она не понимала. Долетали до нее отрывки фраз.

А рядом с ней в зеркале сидела другая, такая же черная, как и она.

Так она и не дождалась философа, так и ушла по-родственному, не простившись.

Надевая калоши, сказала прислуге: «А у меня скончался Петюша».

Мыслей у нее не было... В ушах еще звенел голосище приходского дьякона: «Во блаженном успении вечный покой...»

Такой был голосистый дьякон.

Философ говорил долго. Говорил яро. Говорил до изнеможения, пока не ушел Поповский.

Усталый и бледный, пришел к себе в комнату и упал на постель.

Последняя мысль его была такова: «Не то, не то... Опять все не то... Ах, кабы спрятаться! Ах, кабы отдохнуть!»

Он спал... А над ним сгушались тени. Вечно те же и те же, суровые и нежные, безжалостно мечтательные.

Сама Вечность в образе черной гостьи разгуливала вдоль одиноких комнат, садилась на пустые кресла, поправляла портреты в чехах, по-вечному, по-родственному.

Уже хмурились книжные шкафы; и тени встречались и, встречаясь, сгушались.

Так он спал в час весенних сумерек с бледным, ироническим лицом и без всякой деланности...

И малый ребенок мог придушить его.

Его окно было открыто. Оттуда дул прохладный ветерок.

С противоположной стороны к нему в окно из окна смотрел толстый Дормидонт Иванович, возвратившись со службы.

Дормидонт Иванович пил чай с блюдечка и, глядя в окно к нему, думал: «Интересно бы знать, сколько платят за эту квартиру».

Снова показались угрюмые самокатчики; снова продавали незабудки; и музыка на другом бульваре играла: «Смейся, паяц».

На перекрестке двух улиц стоял как бы почтенный отец семейства с седыми усами, одетый с достоинством.

Ничего в его наружности не было кричащего; все соответствовало, все было подчинено общей идее.

Он курил дорогую сигару, обсуждая коммерческое предприятие; его громадный нос намекал на армянское происхождение.

Это был заезжий жулик из южных провинций.

А к нему навстречу жуликом бежал профессор Московского университета с экзаменов.

Оба не знали, зачем существуют и к чему придут. Оба были в положении учеников, написавших «extemporalia»⁴, но не знающих, какую получат отметку.

Вставала луна. Опять как вчера, она вставала.

Так же она встанет и завтра и послезавтра.

А уж затем не миновать ей невольного ущемления.

Философ проснулся... Поднял голову со скомканных подушек... И прямо в глаза ему смотрел резко очерченный месяц на темно-эмалевой сини...

Красный месяц!..

Философ вскочил в ужасе; схватил себя за голову; как безумно влюбленный, смотрел на страшный диск.

Тогда демократ писал критическую статью в своем номере. Увидел луну. Горестно улыбнулся.

Бросил перо и свои мысли, скакавшие и вертевшиеся, как беспокойные собачки.

Потер свой лоб и шептал: «Не то, совсем не то».

Вспомнил сказку.

...Поднялась шелковая занавеска. Кто-то открыл окно на том конце города.

Дом был самый модный и декадентский, а в окне стояла сказка.

Она оправляла свои рыжие волосы; улыбалась, глядя на луну. Она говорила: «Да... знаю».

Она смотрела синими, печальными очами, вспоминая своего мечтателя.

У подъезда стояли вороньи кони и ждали ее, потому что был час катаний.

Тогда зелено-бледный горбач, возвратившись из больницы, отобедал.

К нему пришел двоюродный брат и пожаловался на страдания свои: говорил, как по вечерам ему кажется, что предметы сходят с мест своих.

Горбач потрепал по плечу нервного братца и заметил добродушно, что этим нечего смущаться, что это «псевдогаллюцинации д-ра Кандинского»⁵.

Так сказав, он открыл рояль и заиграл Патетическую сонату Бетховена.

Но этого не смог вынести нервный родственник; нервному родственнику казалось, что предметы сходят с мест своих.

Это были псевдогаллюцинации д-ра Кандинского.

Но горбач продолжал играть *Патетическую сонату*. Глаза его были строги. Над головой торчало два ушка.

Он был большой сентиментал.

⁴ Классное упражнение в переводе текста без домашней подготовки.

⁵ См. Курс психиатрии Корсакова. (Примеч. авт.)

И звуки лились... Колченогий сынишка перестал готовиться к экзамену... Прослезился втихомолку.

Уже прислуга спала. Огни в людской были потушены, хотя час для сна еще не был законен; теща зелено-бледного горбача стояла на пороге кухни.

Ее огромный живот и свиноподобное лицо сияли в игре месячных лучей.
Она ругалась, как кухарка, поднимая заснувшую кухарку.

Ночью по Остоженке проходил Поповский.

Он шел неизвестно откуда, и никакая сила не могла изменить его пути.

С противоположной стороны улицы открыли окно две бледные женщины в черном.

Старшая равнодушно указала на проходящего и сказала бесцветно: «Поповский».

Обе были грустны, точно потеряли по сыну. Обе были похожи друг на друга.

Одна походила на зеркальное отражение другой.

Окно декадентского дома было открыто, и в окне мелькало очертание бёклиновской сказки.

Сказка бесцельно шагала по комнате, и, казалось, темное горе заволакивало ее лицо.

Наконец, она сказала: «Скука!» Села в кресло.

И вдали, вдали, как бы в насмешку над миром, заорали: «Караул». Раздались тревожные свистки.

Это один разбил нос другому, потому что оба были пьяны.

Ночью все спали. Утром шел косой, солнечный дождь.

Солнце весело посмеивалось сквозь льющиеся струи. На целых полдня были упразднены поливальщики.

Утром хоронили тифозного больного в церкви «Никола-на-курьих ножках». Оттуда несли его линючий, лиловый гроб, обитый мишурным золотом.

Впереди шел поп с рыжей бородой и красным носом.

Сзади ехали три линейки; все они были вытерты; бесцельно грохотали они по невозможной мостовой.

Первая линейка была обита линючим синим, вторая – линючим красным, а цвет третьей нельзя было разобрать.

Было очень грустно: не доставало шарманки и паяца.

В первой линейке сидели и плакали.

Во второй у сидящих были только печальные лица.

В третьей сидели две старухи с довольными, полными лицами; одна держала тарелку, завязанную платком.

Здесь была кутья.

Обе старухи оживленно болтали, ожидая поминального обеда.

Тут же в процессии был уже зараженный тифом, которому надлежало завтра слечь в постель.

Так подвигалась печальная процессия к далекому кладбищу.

Улицы были исковыряны. Люди со скотскими лицами одни укладывали камни, другие посыпали их песком, третьи прибавали их трамбовками.

В стороне лежало рваньё в куче: здесь были и бараньи полушубки, и шапки, и краюхи хлеба, и неизменно спящий, желтый пес.

А там, где вчера сидел зловонный нищий и показывал равнодушным прохожим свою искусственную язву, – варили асфальт.

Шел чад. Асфальтовщики по целым минутам висели на железных стержнях, перемешивая черную кашу в чанах.

Потом выливали черную кашу на тротуар, посыпали песком и оставляли на произвол, подвергая естественному охлаждению.

Усталые прохожие обегали это смрадное место, спеша неизвестно куда.

Читающий *Критику чистого разума* был сегодня в ударе.

Он нашел ошибки у Канта и построил на их основании оригинальную систему.

Он рылся в шкафах между философскими сочинениями, поднимая невыразимую пыль.

А с противоположной стороны окно Дормидонта Ивановича было закрыто, потому что сам Дормидонт Иванович сидел в Казенной Палате.

Он был столоначальник: его любили писаря.

Мечтательный демократ решительно не мог работать; вчера он написал письмо сказочной нимфе, а сегодня она должна была его получить.

Ему была заказана критика консервативного сочинения. Демократ по закону осыпал колкостями консервативного автора.

Но собственные мысли казались скучны, как собаки. Перо валилось из рук.

А прямо в лицо ему голубая чистота смеялась и шутила. Он мечтательно глядел в окно.

Что это он делал?

Синеглазая нимфа получила письмо от мечтателя. Она была в смутном волнении.

Весь день глядела презрительно на доброго кентавра, доставляя ему неприятности.

Оправлял кентавр свои воротнички и покрикивал на лакеев.

Это был добрый кентавр. Его угнетали неприятности.

Прение он фыркал и нырял среди волн, а теперь было совсем, совсем не то.

Аристократический старичок давал вечер. По пятницам у его подъезда стояли экипажи.

У него появились и ученые, и дипломаты, и люди самого высшего общества.

Это был добрый старичок и не чуждался направлений.

Консерваторы, либералы и марксисты одинаково любили аристократического старичка.

Сюда приходил даже великий писатель, пахарь и граф без всякой неприязни.

Всех трепал по плечу добрый старичок со звездой на груди и одинаково говорил: «Да, да, конечно...»

В изящной гостиной толстая супруга важного старичка уснащала гостей любезностями.

Были гости во фраках и белых галстуках: все они были мило развязны и невинно изящны; все они испускали из себя лучи света и, сияя, не подозревали об этом.

Все они, пройдя три стадии превращений, стали детьми: ни злых львов, ни косолапых верблюдов здесь нельзя было встретить. Это происходило не оттого, что их не любил всеблагий старичок.

Это происходило оттого, что грозные слуги не впускали всех без исключения.

Две молодые дочери старичка предлагали гостям, передергивая плечами: «Хотите чаю?»

Многие пили, а иные и отказывались. Этим предлагали идти в залу.

В зале молодые люди во фраках, выхоленные и женственные, мило вращали.

Молодые девушки, красивые и некрасивые, подхватывали вранье и доводили его до абсурда.

Все были веселы. Никто ни о чем не заботился.

Казалось, Царство Небесное сошло на землю.

Сам аристократический, старичок, чистый и выбритый, со звездой на груди, брал то того, то другого под руки и уводил к себе в кабинет.

Это не был банальный кабинет, но комната, уставленная дорогими копиями с великих мастеров.

Всех одинаково сажал старичок против себя, всем говорил приятное.

Со всеми заводил умный разговор, и все разрешалось в этом разговоре просто и легко.

Дипломат соглашался с соображениями старичка; карьеристу показывал старичок портреты лиц, власть имеющих, с собственными подписями.

Ученому хвалил науку и однажды плакал у студента на груди, жалея современную молодежь.

Цинику показывал нецензурные парижские издания, предварительно затворив дверь.

Всех любил добрый старичок, стараясь сделать каждому приятное.

Вставала луна. Опять, как вчера, она вставала. Так же встанет и завтра.

А затем уж не миновать ей невольного ущемления.

У Поповского болели зубы.

Попирая мягкие ковры парадной лестницы, поднимался изящный демократ во фраке.

При входе в гостиную его чуть не сбили с ног два безусых фрачника; у одного в руках была гитара.

Они стремились в зал, откуда раздавались звуки музыки и где молодые, а также и старые люди наивничали под аккомпанемент рояли.

Сказали безусые фрачники «pardon» и пробежали, как сумасшедшие, мимо демократа.

При входе в гостиную демократ небрежно склонил свою надушенную голову, выражая всем свое изящное почтение.

Он больше слушал, чем говорил: этого от него требовало приличие.

Ведь он был критик, и к нему шло молчание.

В числе гостей был молодой человек с длинным носом и потными руками: это был модный музыкант.

Был тут и талантливый художник, изобразивший на большом полотне «чудо».

Был тут и знакомый философ, потому что он был талантлив.

Была и важная особа из консерваторов, имеющая отношение к делам печати.

Важная особа любезничала с блестящим демократом; она сделала приятный жест руками и, мило смеясь, заметила бархатным голосом: «Разность убеждений не мешает нам ценить друг друга».

И блестящий демократ склонил свою надушенную голову, выражая собою полную беспристрастность.

Самого аристократического старичка здесь не было; он сидел в своей комнате со старым князем-благотворителем.

Наклоняли старички друг к другу свои бритые, старые лица и говорили о том, какая теперь дребедень в силе.

Князь-благодетель жалел об отмене крепостного права, а угодливый хозяин участливо жевал беззубым ртом и вставлял между слов князя: «Да, да, конечно».

В гостиную вошла сказка мягкими, неслышными шагами.

У нее было светло-серое платье и на нем были нашиты серебряно-бледные листья. В рыжих волосах горела бриллиантовая звезда.

Она ступала тихо и мягко, как бы пряча свое изящество в простоте.

Это был верх аристократической естественности.

И молодой демократ запнулся на полуслове, и почва ушла у него из-под ног.

А за сказочной нимфой уже выросло очертание ее кентавра, которого голова уплывала в шее, шея в сорочке, а сорочка во фраке.

Сказала хозяйка: «Кажется, здесь все знакомы» – и, вспомнив, представила сказку демократу.

Они подали друг другу руки, и демократ почувствовал на себе пронзивший его взгляд синих очей.

Взгляд был ласковый. Демократ понял, что на него не сердились за письмо.

Из залы доносились звуки рояли; там изящная молодежь предавалась изысканным удовольствиям.

А они говорили друг с другом в натянуто-милых и светски-приторных выражениях, как ни в чем не бывало.

Хотя каждое слово демократа сопровождалось особым аккомпанементом; этот аккомпанемент означал: «Не то, не то».

Бёклинская сказка слушала речь о пустяках шаловливо и участливо, говоря: «неужели» или «скажите, как это интересно».

Но за этим «скажите» прятался ответ на «не то»: «Да, да... знаю...»

Это была изящная и шаловливая игра не без лукавства.

«Любите ли вы музыку?» – сказала демократу его сказка, а он в ответ: «Нет, не люблю» – и сопровождал свои слова как бы тремя звездочками.

А под тремя звездочками значилось: читай так: «Я люблю музыку больше всего на свете после вас».

И сказка отвечала: «Впрочем, такому серьезному человеку не до музыки». И при этом стояли как бы три звездочки.

А под тремя звездочками значилось: читай так: «А ты очень неглуп».

Потом обратилась сказка с ласковой непринужденностью к толстой хозяйке, сказав: «Вы будете, конечно, на празднике цветов?»

Но тут появившаяся в дверях старшая дочь лучезарного старичка пригласила демократа присоединиться к их веселому обществу, направив на него свой черепаховый лорнет.

Скрепя сердце, он склонил голову и последовал за тонкой барышней, понимая, что *это* понравится синеглазой нимфе.

В зале молодые люди и молодые девицы мило ввали.

Среди них был мрачен философ, увидевший в окне луну, повитую дымкой, удалившийся в бездонно-грозящее.

Он нашел в своей новой системе отчаянные промахи; досадливым пятном выступала перед его духовным взором непогрешимость *Критики чистого разума*.

Его нервы шалили.

Толстый кентавр, весь – простота и утонченность, подсел к талантливому художнику, изобразившему «чудо».

Он хотел купить «чудо», а пока терпеливо выслушивал речь о неудобствах масляной живописи.

В зале пели. Безусый фрачник играл на рояли. Он плясал на кончике табурета, поднимая руки над клавишами, налегая всем корпусом на собственные локти. Так было принято.

Добрый военный генерального штаба с серебряными аксельбантами играл на гитаре, отбивая такт мягкими, лакированными сапогами, качая вправо и влево седеющей головой. Так мило они веселились. Казалось, Царствие Небесное спустилось на землю.

Молодой демократ сидел убаюканный цыганским мотивом и разговором со сказкой. Как очарованный, слушал пение.

Пел военный генерального штаба с черными усами и милым, но недалеким лицом: «Под чагующей лаской твоею оживаю я снова опять... Ггезы пгезние снова лелею, вновь хочу любить и отгадать...»

Он пел грудным, страстным голосом и срывал концы слов, как истый цыган.

И хор молодых фрачников и девиц подхватывал: «Поцелуем дай забвенье, муки сердца исцели!!» «Пусть умчится прочь сомненье! Поцелуем оживи!!!»

Фрачники и молодые девицы раскачивали головами вправо и влево, аккомпаниатор плясал на конце табурета, а худая, как палка, дочь хозяина закатывала в пении глаза, ударяя черепаховой лорнеткой ловкого аккомпаниатора.

Молодой демократ, глядя на поющих, думал: «Это не люди, а идеи моего счастья», а дочь старичка кивала ему, как бы говоря: «Мы идеи, но не люди»; а сам лучезарный старичок, бритый и чистый, со звездой на груди, стоял в дверях и умильно улыбался поющей молодежи, шепча еле слышно: «Да, да, конечно...»

Философ нахмурился, туча в окне закрыла луну; он нашел в своих построениях еще ошибку.

Некто из фрачников наклонился к дочери старичка, сказав про философа: «Qui est ce drôle?»⁶

Военный генерального штаба, с черными, тараканьими усами и милым, добрым лицом, пел: «Пусть газсудок твездит мне суговый, что газлюбишь, изменишь мне ты-и-и! Чаг твоих мне не стгашны оковы: я во власти твоей кгасоты!!»

Он пел грудным, страстным голосом и срывал концы слов, как истый цыган.

Хор подхватывал. Фрачники и молодые девицы раскачивали головами вправо и влево, аккомпаниатор плясал на конце табурета; молодой демократ думал: «Это не люди, а идеи моего счастья». Старичок, бритый и чистый, со звездой на груди, стоял в дверях и умильно улыбался, глядя на поющую молодежь, шепча еле слышно: «Да, да, конечно».

В это время демократ увидел, как вдали прошла сказка с кентавром, направляясь к выходной лестнице.

Она бросила в зал свой странный, блуждающий взгляд, ничего не доказывающий, и грустно улыбнулась коралловыми губами.

Дальше мелькнул огонь ее волос. Дальше понял демократ, что едва ли они увидятся так близко.

⁶ Кто это, такой смешной? (фр.)

И вновь все провалилось с оборванными струнами. А из хаоса кивала скука, вечная как мир, темная как ночь.

Скука глядела из окна, из глаз ужаснувшегося философа.

Казалось, что-то изменилось. Кто-то вошел, кого не было. Кто-то знакомый и невидимый стоял в чересчур ярко освещенной зале.

А военный генерального штаба, ничего не замечая, доканчивал свое пение: «Если б даже за миг тот пекгасный мне могила была б суждена...»

«Могила», – подумал демократ. Хор подхватывал. Фрачники и девицы раскачивали головами вправо и влево. Аккомпаниатор плясал на конце табурета.

И увидел демократ, что это все ложные идеи, а к нему ласково подошел бритый старичок со звездой на груди. Взял под руку и шептал: «Я иду в уровень с веком, я люблю современную молодежь».

Демократ и философ темней ночи вместе вышли на улицу.

Надвигалась гроза.

Их путь был общий, но шли они молча, прислушиваясь к вечным упражнениям.

Минуты текли за минутами, искони все те же. Два ряда фонарей мигали газовыми языками.

Молодой демократ, томный и несчастный, видел перед собой насмешливо кивающего старичка. Нервы философа окончательно распались. Безумие подкрадывалось к нему медленными, но верными шагами.

Уже оно стояло за плечами. Страшно было, обернувшись невзначай, увидеть это грозящее лицо.

Так шли они, обреченные на гибель, темною ночью.

Уже пыль, крутясь, неслась вдоль сонных улиц.

На перекрестке они сухо простились. Несмотря на все, они помнили, что принадлежат к разным партиям.

Философ пошел своей деланной походкой вдоль одинокого переулка, ужасаясь и не обращившись.

Ему казалось, что за ним идет грозящий ужас, и он вспомнил, что в его одинокой квартире есть огромное зеркало и что сейчас в зеркале отражается его комната.

Его заботил вопрос, правильно ли она отражается.

Вот он подошел к подъезду. За ним захлопнулась гулкая дверь.

С лестницы сходил незнакомец в обтертом картузе. Задрожал неврастеник, как осиновый лист; погас в лице своем, как светильник без масла, видя на лице незнакомца печать страшного предначертания.

Незнакомец спускался по лестнице, опустив глаза. И, проходя мимо него, неврастенический философ думал: «Вот, вот поглядит он на меня!..»

Ему казалось, что тогда «все будет кончено».

Но картузник не поднял глаз. Слабо усмехнулся и сбежал с лестницы. Вот за ним захлопнулась гулкая дверь.

А еще не мог оправиться неврастеник от минувшего ужаса. Все казалось ему, что вот-вот он вернется.

И вновь отворилась дверь. Кто-то бежал вверх по лестнице.

И когда философ звонил к себе, вошедший всходил уже на высшую площадку.

Это был почтальон. Он звонил в соседнюю дверь.

И когда отворили безумцу, тот, не смотря на прислугу, прошел к себе в комнату и заперся на ключ, боясь впустить грозящий ужас.

Был мрак. Ослепительная молния разрезала тьму. Оглушительный удар сотряс стены. Между шкапами с философскими книгами прятался бледный незнакомец с печатью диких предначертаний.

Это и был грозящий ужас.

Тихо ахнул чтец Канта и присел на корточки.

Уже больше он не вставал с пола, но забился под кровать. Ему хотелось убежать от времени и пространства, спрятаться от мира.

Братья мои, ведь уже все кончено для человека, севшего на пол!

Где-то часы пробили два. Вспыхнула молния. Она не осветила безумца. Он сидел под кроватью и лукаво смеялся своей выдумке.

Тогда грозящий ужас вышел из-за шкафов с философскими книгами, открыл окно и спустился вниз по желобу.

А с противоположной стороны все было тихо и мирно. Окно в комнате Дормидонта Ивановича было закрыто.

Сам Дормидонт Иванович тихо похрапывал на спине. Ему грезилось, что уже на дворе Рождество и что он получил награду.

В тот час застрелился молодой демократ, не окончивший заказанной ему критической статьи.

Прикладывая револьвер к виску, он улыбался, вспоминая свою сказку, сказку демократа.

А сказка, грустная и мечтательная, стояла в окне декадентского дома, озаренная вспышками молний.

Она держала письмо демократа. Она плакала. Коралловые губы складывались в улыбку. С улыбкой вспоминала своего мечтателя.

И... там... вдали... как бы в насмешку... проезжали по улицам вечерние бочки.

Это были ложные идеи...

У Поповского болели зубы: он был по ту сторону добра и зла, равно забыв Бога и черта. Над рекой стоял седовласый старец. Он облокотился на перилы. Скорбное лицо его выражало мучительный ужас.

Внизу под горой летел развеселый кучер, погоняя что есть мочи кровную пару. В коляске сидели развеселые конюха.

Вдали мерцали фабрики сотнями огней.

Тогда воздел свои руки скорбный старец и тихо сказал: «Боже мой, Боже мой!»

Его жалоба осталась без ответа.

Ночью все спали. Спали в подвалах. Спали на чердаках. Спали в доме аристократического старичка.

Иные спали, безобразно скорчившись. Иные – разинув рты. Иные храпели. Иные казались мертвыми.

Все спали.

В палате для душевно-больных тоже спали. Спали на одинаковых правах со здоровыми.

Уже светало. Было невеселое мерцанье. Бледный и пасмурный день зловеще смотрел в окна.

Моросил холодный, сырой дождь.

А день разгорался, как ни был он мрачен, и, казалось, – это было обращение к переутомленным, приглашение к новому ломанью.

Только один душевно-больной меланхолик уже сидел на постели и равнодушно поглядывал на спящих.

По его спине пробегала дрожь. Его тошнило: он чувствовал себя мерзко под опекой времени.

Он хотел бы удалиться за черту времени, да не знал, как это сделать.

А время текло без остановки. В течении времени отражалась туманная Вечность.

Грустно сказал меланхолик: «Я знаю тебя, Вечность, я боюсь, боюсь, боюсь!»

И снова улегся спать.

По железной дороге мчался курьерский поезд и влек в Москву спящего Макса Нордау⁷.

Макс Нордау храпел в купе первого класса, несясь в Москву на всех парусах.

Он спешил на съезд естествоиспытателей и врачей.

Всю жизнь боролся усердный Нордау с вырождением. Вот и теперь приготовил он речь.

А дождь моросил и бил в стекла вагона. Поезд мчался и влек спящего Нордау вдоль печальных российских низменностей.

Утром вышли книжки трех журналов. Демократу не удалось пробежать их глазами.

Говорили в редакции либеральной газеты багровый редактор и голодный поэт.

Редактор сообщил поэту, что демократ застрелился от гражданской скорби, а голодный поэт обещал написать «теплую» статейку и там «продернуть» кого следует.

На улицах развевались флаги.

К полудню дождь окончился. Глянуло солнце. Поповский ходил разговаривать о своей учености.

Он обошел пять мест и в пяти местах говорил о пяти предметах.

В одном месте говорил о пользе синтеза, в другом – о передвижной выставке.

В третьем сыграл партию в шахматы, а в четвертом измерял значение гностиков⁸.

В пятом месте Поповского не приняли, потому что хозяина пятого места свезли еще утром в сумасшедший дом.

Это был философ, зачитавшийся Кантом.

На окнах его квартиры были наклеены бумажки, долженствующие означать, что квартира сдается.

Повесил нос маленький Поповский и пошел в шестое место.

Было шесть часов вечера. Прояснилось. Шел со службы Дормидонт Иванович.

Он шел мимо чайного и колониального магазина. В стеклах окон лопались довольные колбасы.

⁷ Нордау Макс (1849–1923) – немецкий писатель, критик, выступал с критикой новейшей литературы, в том числе символизма. Наиболее известна его книга о новой литературе «Вырождение».

⁸ Гностики – последователи религиозного движения поздней античности гностицизма, вылившегося в ряд раннехристианских ересей. Гностицизм притязал на знание особого, таинственного смысла Библии, часто противоположного прямому. Оказал влияние на средневековые ереси и неортодоксальную мистику нового времени.

Зашел Дормидонт Иванович в чайный и колониальный магазин, захотел купить себе бутылочку сидру, чтобы узнать, каков любимый напиток французов.

Был нарочито любопытен Дормидонт Иванович.

Проходя мимо бывшей квартиры философа, увидел Дормидонт Иванович наклеенные бумажки.

Сказал Дормидонт Иванович: «Аа! Переезжают! Вот бы интересно узнать, сколько платят за эту квартиру!»

Потом он гулял на бульваре, опираясь на палку, благодушный и толстый.

Звали его писаря в шутку Мастодонтом Ивановичем, но то были враки, потому что он не был Мастодонтом, но Дормидоытом.

Сказка покупала себе безделушки. Толпы барынь, барышень и мужчин спешили из отделения в отделение.

Лифт работал всюю; человек в вагончике с остервенением летал вдоль четырех этажей. То тут, то там раздавался металлический возглас: «Счет».

Вечером в благородном зале должен был состояться концерт, благородный и экстренный. Приехал знаменитый дирижер. Вся Москва взяла себе билеты.

Еще за час до концерта толстый человек раскладывал ноты по пюпитрам, а за десять минут до начала собралась публика первых рядов.

Уже пришел нахальный человек с неприличными бакенбардами и сел в четвертый ряд.

Это был Небаринов, неперемный член общественных собраний.

Уже пришла и графиня, и княгиня, и жена знаменитого писателя.

И профессор консерватории с большой бородой, но короткими волосами, и профессор консерватории с небольшой бородой, но длинными волосами, и профессор университета.

И аристократический старичок с толстой супругой, и господин, любящий Мендельсона⁹, с бородой, но без усов.

И адвокат Ухо, и молодой человек Кондижогло, и многие иные, каким следовало быть.

Уже кентавр с женой были в концерте. Сказка разговаривала с мило глупившим городским обер-полицмейстером.

Городской обер-полицмейстер был из высшего общества. Он шутил и говорил небрежности.

И на глупости отвечала сказка глупостями, обводя залу блуждающим взглядом.

И уже в ложу вошла важная особа. Тогда показался знаменитый дирижер.

Два человека, прибежав, поднесли ему венок.

И вот началось... углубилось... возникло...

Едва кончалось, как уже вновь начиналось. Вечно то же и то же поднималось в истомленной душе.

В то время Небаринов оглядывал присутствующих и припоминал отсутствующих.

Был внимателен кентавр. Спал старичок. Супруга толкала его локтем, а он, просыпаясь, бормотал: «Да, да, конечно».

И качали головами в такт умиленные графиня и княгиня, и жена знаменитого писателя.

Суровым очертанием сидела сказка.

⁹ Мендельсон (Мендельсон-Бартольди) Якоб Людвиг Феликс (1809–1847) – немецкий композитор, дирижер, пианист и органист.

Она грустила.

И вот началось... углубилось... возникло... точно это были гаммы из неведомого мира, неизвестно откуда возникавшие, замиравшие.

Точно *это* было само по себе, а трубившие и водившие смычками сами по себе...

Точно огни померкли. Благородная зала стала мала и тесна. Что-то с чего-то сорвалось... Стало само по себе...

И зала казалась странным, унылым помещением, а мерцанье огней невеселым.

И многочисленные лица слушающих казались рядом бледных пятен на черном, бездонном фоне.

Эти лица были серьезны и суровы, точно боялись люди уличить себя в постыдной слабости.

А *это* было сильнее их всех.

Звуки бежали вместе с минутами. Ряд минут составлял время. Время текло без остановки. В течении времени отражалась туманная Вечность.

Это была как бы строгая женщина в черном, спокойная... успокоенная.

Она стояла среди присутствующих. Каждый ощущал за спиной ее ледяное дыхание.

Она обнимала каждого своими темными очертаниями, она клала на сердце каждому свое бледное, безмирное лицо.

Это была как бы большая птица... в печали. И печаль не имела конца.

Эта печаль прокатилась тысячелетия. Тысячелетия лежали впереди.

Она облетела планетные системы. И планетные системы меняли свое направление.

А она была все та же и та же, спокойная, величавая, безжалостно-мечтательная.

Это была как бы большая птица. И имя ей было *птица печали*.

Это была сама печаль.

А уже среди резко очерченных туч стоял ущемленный, блестящий месяц. Он не оправдал ожиданий и ущемился ранее срока. Он все делал не по ожиданию, а по календарю.

Вот теперь он обманывал Москву, говоря, что летит среди неподвижных туч.

Но было обратно.

Между месяцем и бедной землей неслись тучи, неизвестно откуда, неизвестно куда.

Шумел северный ветер и сгибал молодые, нежные деревца.

В окне ресторана пьяный голос орал: «Плачь, плачь! Не тааааи ррррыданья... плааааааааа, плачь, плачь! Не таи рррыдаааанья!»...

В тот час прикатил курьерский поезд. Из купэ первого класса выскочил Макс Нордау.

Грозный Нордау оглядывал дебаркадер, бормоча еле слышно: «Die alte Moskau!»¹⁰

Кругом бежали люди с чемоданами, а паровоз, как безумный, свистел.

А уже откуда-то издали несло дикое гамканье московских извозчиков: «Со мной, барин, со мной! Вот извозчик!..»

И Нордау недоумевал.

В тот час по бульвару шел седовласый старик в шапке с наушниками и распушенным зонтом.

Фонари тускло подмигивали. Порой встречались подозрительные личности.

¹⁰ Древняя Москва! (нем.)

Дождь шел как из ведра.

Остановился седовласый старец и горестно закричал, потрясая распушенным зонтом:
«Боже мой, Боже мой!»

Одинокий прохожий изумленно обернулся, услышав этот крик... А деревья шумели, склоняясь, зовя в неизведанную даль.

Часть вторая

Лунные ночи сменялись безлунными. Со дня на день ожидали новой луны.

А пока было безлуние.

В вечерний и грустный час остывали крыши домов, остывали пыльные тротуары.

Между домами были свободные вырезы неба. Идя с правой стороны малолюдного переуллка, можно было заметить нежно-желтое погасание дня, окаймленное дымными глыбами туч.

Над Москвой висела дымка.

В малолюдном переуллке карлица-богаделка, старая, сине-бледная, шла в богадельню с мешочком в руках.

За ней бежал человек в сером пальто и с черными усами.

Его рука была опущена в карман, а в кармане он сжимал сапожное шило.

Впереди переулок упирался в другой, перпендикулярный первому; там на фоне белой стены мотала головой черная лошадь скрючившегося во сне извозчика.

И старушка, и молодой человек с черными усиками проходили мимо освещенных окон; заглянув в окно, можно было усмотреть, как любитель-механик, сидя за столом, разбирал стенные часы.

Все, как следует, разобрал механик, а собрать он не сумел; сидел, почесываясь.

У подъезда стояла фура с надписью «Работник»¹¹. Около фуры человек в форменной фуражке пояснял прибежавшему дворнику, что он их новый жилец.

Минуту спустя перевозчик в союзе с дворником таская из фуры на спине стопудовые громады на третий этаж.

А человек в форменной фуражке строго наблюдал за целостью таскаемых громад; он снял квартиру рехнувшегося философа.

Еще более стемнело; бесконечное пространство крыш стыло.

Были крыши многих домов в связи между собой; одни подходили к другим и оканчивались там, где другие начинались.

У печной трубы дрались два кота, черный и белый; оба прыгали, гремя по железу, усердно били друг друга по щекам и визжали что есть мочи.

Человечество, затаив дыхание, следило за поединком.

Труба дымила; стоя у трубы, можно было видеть в отдалении окно Дормидонта Ивановича.

Дормидонт Иванович очень любил детей; он всегда угощал их мятными пряниками, хотя жалованье Дормидонта Ивановича не было значительно, и Дормидонт Иванович сам любил кушать мятные пряники.

Но он скрывал свою страсть.

Сегодня к нему пришел племянник Гриша. Дормидонт Иванович напоил Гришу чаем с мятными пряниками.

Гриша уничтожил все пряники, не оставив ни одного толстому дяде; Гриша не уважал толстого дядю, но бросал в него резиновым мячиком.

А Дормидонт Иванович одним глазом поглядывал на летающий мячик, а другим следил за огнями, мерцающими в бывшей квартире философа.

¹¹ «Работник» – комиссионерское товарищество по продаже сельскохозяйственного инвентаря и машин.

Он сказал неожиданно: «Ну, вот! И переезжают!» – и вздохнул облегченно.

В ту пору к декадентскому дому подкатил экипаж; из него вышла сказка с сестрой, полусказкой.

Обе были в весенних парижских туалетах, и на их шляпках колыхались громадные черные перья.

Сказка не знала о смерти демократа. Обе болтали в передней, обсуждая платье графини Каевой.

В ту пору в Новодевичьем монастыре усердная монашенка зажигала лампадки над иными могилами, а над иными не зажигала.

Была свежая могила демократа украшена цветами, и металлический венок колыхался на кресте.

Нагнувшись, можно было разобрать многозначительную надпись на кресте: «Павел Яковлевич Крючков, родился 1875 г., скончался 1901 г.».

Но сказка ничего не знала о кончине мечтателя и продолжала болтать с полусказкой о туалете графини Каевой.

А кругом стояли бритые люди, и лица их не выражали удивления, потому что всё они знали и обо всем могли дать ответ.

Это были... хамы...

В тот час молодой человек вонзил сапожное шило в спину старушки богаделки, ускользнув в соседний переулок.

Это был сумасшедший, и его тщетно отыскивала полиция.

В тот час Храм Спасителя высился над пыльной Москвой святым великаном.

Под его златоглавым силуэтом текли воды Москвы-реки в Каспийское море.

В тот самый момент, когда полусказка простилась со сказкой и когда серый кот побил черного и белого;

когда неосторожный Гриша разбил мячиком стакан Дормидонта Ивановича, а старушка шамкала в одиноком переулке: «караул»,

давали обед в честь Макса Нордау московские естествоиспытатели и врачи; сегодня прогремел Макс Нордау, бичуя вырождение; а теперь он сидел в «Эрмитаже» весь красный от волнения и выпитого шампанского.

Он братался с московскими учеными.

Мимо «Эрмитажа» рабочий вез пустую бочку; она грохотала, подпрыгивая на мостовой.

Эта Москва не нуждалась в Нордау; она жила своей жизнью; съезд естествоиспытателей и врачей не касался ее сердечных струн.

Вот сегодня Нордау громил вырождение, а завтра должна была выйти книжка Валерия Брюсова и Константина Бальмонта¹².

В своей одинокой квартире на третьем этаже сидел за самоваром человек средних лет; спокойно и тихо смотрели его ясные очи в дверь открытого балкона.

С балкона рвался свежий ветерок и бросал самоварный пар в лицо сидящему.

Это был ни старый, ни молодой, но *пассивный и знающий*.

Он допивал вторую чашку чаю, а уж на синее небо выпали бриллианты звезд.

Казалось, он застыл и сидел без желания, отуманенный беспредметной нежностью.

¹² «...книжка Валерия Брюсова и Константина Бальмонта...» – коллективный стихотворный сборник «Книга раздумий» (1899) с участием В. Брюсова, К. Бальмонта, М. Дурнова, Ив. Коневского.

Мистик Сириус сгорал от любви.

В черном, бездонном пространстве он выбрасывал из себя столбы огня и бреда; и не один Сириус, но все звезды извергали потоки огня в черный холод.

Это был звездный ужас.

Этого не боялся *спокойный и знающий*, но допивал вторую чашку чаю.

Казалось, он застыл и сидел без желания, отуманенный беспредметной нежностью.

Казалось, он говорил: «Так, так, Господи! Я *знаю* тебя!»

Уже допил вторую чашку и наливал себе третью.

И когда в соседней квартире било двенадцать, он сидел спокойный и задумчивый, вперив ласковый взор в безлунное небо созвездий.

Было тихо. Иногда гремел извозчик. Коты орали на крышах.

Если у кого был тонкий слух, то он мог бы услышать вдалеке призывный звук рога.

Словно кто-то стоял на дымовой трубе в серой крылатке и трубил в рожок.

Но это только казалось.

Тяжелый, междупланетный шар принесся неизвестно откуда.

Со свистом он врезался в земную атмосферу и, раскалясь, посылал от себя снопы искр.

Внизу казалось, что большая, сверкающая звезда скатилась с синего неба.

На небе осталась белая полоса, быстро растаяв на холоде.

Видел, видел звезду сидящий за самоваром и принял это к сведению.

Теперь происходили ночью над Москвой <явления>, полные священного значения.

Ходили синие, дымные громады, застилая от времени до времени горизонт.

Это было неспроста: шел вопрос о священном значении России.

Проезжали вечерние бочки и решали вопрос отрицательно; на козлах сидели наглые люди и спорили с городовым.

Проходил Поповский и решал отрицательно.

А сидящий за чаем решил положительно, и Поповский был устранен с улиц города Москвы: за ним захлопнулась дверь.

Макс Нордау весьма интересовался городскими увеселениями; это был живой и общительный человек.

Вот он мчался на русских тройках в веселую «*Мавританию*», везомый русскими учеными.

Он икал после сытного обеда, мурлыча веселую шансонетку.

На всю Россию кричал тогда циничный мистик из города Санкт-Петербурга, а товарищи озяли крикуна бенгальскими огнями.

Даже марксисты ударились в философию, а философы в теологию.

Но никто из них не знал о значении таинственного миганья, которое росло и росло в России.

Это миганье отразилось на знакомых Поповского, у которых происходили майские, жаровые собрания.

Каждый из них перелистывал Евангелие, читал мистика и знал наизусть Достоевского.

Иные доходили до того, что обращались с покойным писателем запанибрата.

Иной раз можно было видеть чудака, похлопывающего по *Братьям Карамазовым*, раздражающегося такими словами: «Федор Михайлович загадал нам загадку, и мы теперь ее разгадываем».

Такие все были шутники, право, что и не приведи Бог с ними встретиться.

Весна была небывалая и странная. Потом уже, когда лето миновало, вспоминали весну все без исключения: либералы, консерваторы, мистики и реалисты.

В тот год был небывалый наплыв богомольцев в Киеве. В мае месяце горели уфимские леса.

Передавали поморы, что неоднократно подплывал кит к самому берегу на Мурмане и подмигивал своими рыбьими, крохотными глазками.

Однажды спросил любопытный кит глухого старика помора: «Эй, любезный, как здоровье Рюрика?»

И на недоумение глухого старика добавил: «Лет с тысячу тому назад я подплывал к этому берегу; у вас царствовал Рюрик в ту пору»,

Ночью особенно явственно раздавался звук рога над спящей Москвой.

Тогда же чины сыскальной полиции поймали ловкого протыкателя старух.

Он задорно шелкал пальцем перед чинами сыскальной полиции и ораторствовал: «Нас много на Руси»,

И тут как бы в подтверждение безумных слов выяснилось, что подвальные помещения дома Расторгуевых на Солянке начали заливаться нечистотами.

Уже на месте происшествия стоял городской инженер; размахивая руками, он пояснял присутствующим, что засорились трубы.

На другой день в газетах появилась заметка: «Канализационное безобразие»¹³.

Шестьсот старушек были в волнении. В палатах и коридорах раздавалось недовольное старческое бормотанье.

Одну из старушек подвергли поранению недобрые люди, всадившие ей в спину сапожное шило.

Старушка сидела забинтованная и заваривала себе ромашку.

Толковали о последних временах; видели в появлении протыкателя как бы знамение Антихриста.

А уже в старушечье отделение входил старичок: богадельня была общая и для старичков, и для старушек, и шестьсот старичков постановили одному из своих прочесть соболезнование пораненной товарке.

Вот он стоял с адресом в руках и пытался читать: никто ничего не понял; слышалось беззубое бормотанье.

Отец протоиерей сидел за самоваром в коричневой рясе; он обтирал пот, выступивший на воспаленном лбу, беседуя с гостем.

Его гость был ученый филолог; он был приват-доцент Московского университета.

Он был сух и поджар; непрестанно обтирал руки платком, осыпал отца протоиерея цитатами из евангелиста Иоанна.

Он смаковал каждый текст, раскрывая его священное значение.

¹³ См. московские газеты за май. (Примеч. авт.)

И на его фонтан красноречия терпеливо отмалчивался отец протоиерей, откусывая сахар и чмокая губами.

Наконец он допил стакан, опрокинул его в знак окончания питья своего и сказал собеседнику: «Ай да ловкач! *Хо, хо!* Ай да ловкач!»

Обратил мясисто-багровое лицо свое к ученому, развел руками и, похлопывая себя по животу, присовокупил назидательно: «Старайся, брат доцент!»

Знакомый Поповского собирал у себя литературные вечеринки, где бывал весь умственный цветник подмигивающих.

Сюда приходили только те, кто мог сказать что-нибудь новое и оригинальное.

Теперь была мода на мистицизм, и вот тут стало появляться православное духовенство.

Хотя устроитель литературных вечеринок предпочитал сектантов, находя их более интересными.

Все собирающиеся в этом доме, помимо Канта, Платона и Шопенгауэра, прочитали Соловьева, заигрывали с Ницше и придавали великое значение индусской философии.

Все они окончили, по крайней мере, на двух факультетах и уж ничему на свете не удивлялись.

Удивление считали они самой постыдной слабостью, и чем невероятнее было сообщение, тем более доверия ему оказывалось этим обществом.

Все это были люди высшей «*многострунной*» культуры.

Вот туда-то шел Поповский ясным, весенним вечером.

Он проходил под забором; над забором спускались гроздья белой сирени, помахивая маленькому Поповскому, но Поповский ничего не видел, а улыбался шутливому стечению мыслей.

Когда Поповский скрылся в соседнем переулке, проходил тут Дрожжиковский.

Увидел белые гроздья ароматной сирени и нежно-голубую лазурь.

Увидел и звездочку, мерцавшую из-под белой ветви сирени, увидел и облачко, подернутое пурпуровым таинством.

Все это видел Дрожжиковский, спеша на Остоженку.

Довольный хозяин потирал свои белые руки, осведомляясь, все ли исправно и нет ли обстоятельств, препятствующих полноте литературного удовольствия.

Дело в том, что сегодня обещал сделать сообщение сам Дрожжиковский, это был модный, восходящий талант.

Так думал заботливый хозяин, а уже к нему текли гости из разных переулков города Москвы.

Вдоль одного и того же переулка семенил Поповский, а за ним поспешал сам Дрожжиковский, вспоминая белую сирень.

Закат был напоен грустью. Розовые персты горели на бирюзовой эмали; словно кто-то, весь седой, весь в пурпуровых ризах, протягивал над городом благословляющие руки.

Словно кто накадил. Теперь кадильный дым таял синевато-огненным облачком.

Благовестили.

В булочной Савостьянова всходили белые хлебы.

Один толстый булочник осведомился, много ли имелось дрожжей, и, узнав, что достаточно, засветил лампадку.

Шагая по улицам, можно было видеть в иных окнах то красненький, то зелененький огонек.

Это теплилась лампадка.

Завтра был Троицын день, и православные наливали в лампадки деревянное масло.

Вот теперь святые язычки робко пламенели перед Господом.

Не один атеист жаловался на боль желудка.

Уже гости собирались. Довольный хозяин приказал подавать чай.

В освещенной передней лежали шляпы, шапки и фуражки.

Но позвонили. Вошел Поповский.

Он снял калоши и направился в залу.

Едва пришел Поповский, как уже звонил сам Дрожжиковский; поглядывая на часы и протирая пенснэ, он вошел, встреченный приветствиями.

Всем он подал свою милостивую руку. Вокруг него уже образовалась группа почитателей; сюда подошли поклонники Ницше, мистики и оргиасты.

Только один не подошел, а стоял у окна, закуривая папироску.

Он был высокий и белокурый, с черными глазами; у него было лицо аскета.

Его короткая, золотая борода была тщательно подстрижена, а на ввалившихся щеках играл румянец.

Был тут и хилый священник в серой рясе и с золотым крестом.

Его атласные волосы, белые, как снег, были расчесаны; он разглаживал седую бороду.

Он больше слушал, чем говорил, но умные, синие глаза обводили присутствующих... И всякий почтил про себя это старое молчание.

Еще не начинали общей беседы, по уже улицы пустели, и фонаря зажигались один за другим.

Заря пробивала тяжелое облако, которое сверкало в пробитых местах. Заря стояла всю ночь в эти дни над Москвой, словно благая весть о лучших днях...

Завтра был Троицын день, и его прославляла красивая зорька, прожигая дымное облачко, посылая правым и виноватым свое розовое благословение.

В открытое окно рвался ветерок, донесся запах белой сирени.

Вспоминал Дрожжиковский белую сирень, как забвение болезней и печалей.

Он начинал свою речь среди гробового внимания присутствующих.

Он заговорил прерывистым голосом, часто останавливаясь, чтобы закруглять фразы.

Потом он уже редко останавливался, и фразы вылетали из уст его, словно выточенные из слоновой кости.

Молчал старый священник в серой рясе, склонив белую, как лунь, голову, прикрыв чело и глаза рукой.

На него падал красноватый свет лампы. Черная тень от руки затенила бледное чело.

Развалились на стульях, а хозяин на цыпочках подходил то к одному, то к другому, предлагая чаю.

Тут же сидел поклонник Петербургского мистика, колупая угреватое лицо свое.

Поповский приютился у печки и еще до начала сообщения заблаговременно скривил свой рот.

В открытое окно рвался ветерок, донося запах сиреней.

Вспомнил Дрожжиковский белую сирень. Говорил о забвении болезней и печалей.

Огромный синий купол закрыл собою закат; его края рдели и сверкали; его тень пала на Москву.

А Дрожжиковский упомянул о потоке времени, и, казалось, глаза его видели туманную Вечность.

Он воскрешал угасших великанов; он связывал их мысли; он видел движение этой мысли, указывая на повороты ее.

И всем казалось, что они сидят на утлом суденышке среди рева свинцовых волн, а Дрожжиковский их опытный кормчий.

Он говорил о залпах ракет и фейерверке мыслей и грез; он спрашивал только: «*Где теперь эти ракеты?*»

Он сравнивал мысли философов и поэтов с растаявшей пеной изумрудного моря; он спрашивал у присутствующих: «Где она?»

И молчал священник в серой рясе, склонив белую голову, прикрыв бледное чело и ясные очи дрожащей рукой.

Зарница мигнула из синего купола, закрывшего закат. На лица слушающих падали тени, преображая лица, выдвигая складки грусти и меланхолии.

Но это только казалось от падающих теней; а на самом деле лица их ничего не выражали; все они были довольны собой и Дрожжиковским.

Хотя сам Дрожжиковский не был доволен ни собой, ни умственным движением XIX столетия.

Он сравнивал его с мерцанием болотных огоньков: он спрашивал, стуча по столу: «Где они?»

А ему кивали белые сирени из окна знакомыми сердцу взмахами; это было цветочное забвение.

Синий купол сползал с зорьки. Из-под купола смеялась зорька задушевым, ребяческим смехом.

Дрожжиковский стучал по столу, а в глазах Дрожжиковского отражалась розовая зорька... И казался Дрожжиковский большим, добрым ребенком.

Нашла полоса грусти. Он стоял среди присутствующих, теребя черный ус, насмешливо кивая головой.

Это он погребал философию, а над могильным курганом ее плакал и рыдал, как ветхозаветный Иеремия¹⁴.

Нашла полоса гнева... Он стоял среди присутствующих в гробовом молчании. Он молча грозил позитивистам.

Он кричал, что они вытравили небесные краски.

Потом он демонически захохотал, говоря о демократах, народниках и марксистах.

Но, должно быть, пахнул ветерок с могилы почившего демократа, потому что кто-то шепнул Дрожжиковскому: «Не смущай моего покоя», – и фразы из слоновой кости перестали слетать с пламенных уст его.

Молчал и священник в серой рясе, склонив свою белую голову, прикрывая бледное чело и синие очи дрожащей рукой.

На полу лежала его черная тень.

¹⁴ *Иеремия* – древнееврейский пророк (VII – нач. VI в, до н. э.). Ему приписывается авторство книги Ветхого завета «Плач Иеремии».

И долго, так долго молчал Дрожжиковский, и казался большим, добрым ребенком; ветер шевелил его черными волосами, а серые глаза его были устремлены в окно.

И невольное умиление смягчило черты Дрожжиковского, как будто он готовился сказать новую истину.

В ту пору в Успенском соборе пели: *Свете тихий*, и блистали митры архиереев. Кадильный дым вознесся под купол собора.

И тогда все почувствовали резкое журчанье тающих ледников, и Дрожжиковский начал речь свою вещим словом: *сверхчеловек*.

Поклонники Ницше задвигали стульями, а старый священник поднял свои ясные очи на Дрожжиковского,

Которого слова вспыхивали дрожащим пламенем, и в комнате начался вихрь огня и света.

Словно почувствовали близость талого снега, словно горячечному дали прохладное питье.

Словно тонул жаровой ужас в туманном, сыром болоте, а Дрожжиковский указывал на священное значение сверхчеловека.

Он вставлял в свою речь яшмы Священного Писания, углублялся в теологическую глубину.

Приводил минувшие верования, сопоставлял их с самыми жгучими вопросами современности.

Ждал духовного обновления, ждал возможного синтеза между теологией, мистикой и церковью, указывал на три превращения духа.

Пел гимны дитяте из колена Иудина¹⁵.

Его слова вспыхивали дрожащим пламенем и – огненные знаки – уносились в открытые окна.

Иногда он останавливался, чтобы слушать вальс *«снежных хлопьев»*, который разыгрывали где-то вдали.

И тогда все видели, что над Дрожжиковский повесили цветок лотоса – милое забвение болезней и печалей.

Это было цветочное забвение, а из-под опаловой тучки смеялась ясная зоренька задушевым, ребяческим смехом.

Дрожжиковский стучал по столу, и в глазах Дрожжиковского отражалась розовая зорька... И казался Дрожжиковский большим, невинным ребенком.

В его глазах отражалась слишком сильная нежность; чувствовалось, что струна слишком натянута, что порвется она вместе с грезой.

Где-то играли вальс *«снежных хлопьев»*. Душа у каждого убелялась до снега. Замерзала в блаженном оцепенения.

Невозможное, нежное, вечное, милое, старое и новое во все времена.

Так он говорил; приветно и ласково смотрел ему в очи старый священник, схватившись за ручку кресла.

Все были взволнованы и удивлены.

Довольный хозяин протягивал смущенному автору сообщения свои белые руки; шел оживленный говор...

Случайно попавший сюда марксист вскочил со стула и басом прогремел: «Позвольте вам возразить».

¹⁵ «...*Пел гимны дитяте из колена Иудина*». – Колено, то есть род Иуды – сына ветхозаветного патриарха Иакова – считался основателем царства Иудейского и дал много известных в древнееврейской истории деятелей.

Но тут его перебил золотобородый блондин с лицом строгим и задумчивым; это был как бы аскет с впалыми щеками и лихорадочным румянцем.

Во время речи Дрожжиковского он вскидывал на него свод добрые глаза и, казалось, говорил: «*Знаю, ах знаю...*»

Теперь он стоял, словно властный диктатор. Скоро его деревянный голос заставил при-
смиреть чрезвычайно образованных.

Он говорил: «Ныне наступает Третье Царство, Царство Духа... Ныне вода с бледноликим туманом ближе жертвенной крови.

«Хотя Царствие Небесное не водою только, но и кровию, и Духом.

«Ныне мы должны претерпеть ужасную, последнюю борьбу.

«Среди нас будут такие, которые падут, и такие, которые не разрешат, и такие, которые проникнут, и увидят, и возвестят.

«Наступают времена четырех всадников¹⁶: белого, рыжего, черного и мертвенного.

«Сначала белого, потом рыжего, потом черного и, наконец, мертвенного.

«Разве вы не видите, что на нас нисходит *ничто*, или, вернее, *Некто*.

«Это будет самый нежный цветок среди садов земных, новая ступень лестницы Иакова¹⁷.

«Это будет горным ручьем, скачущим в жизнь бесконечную,

«Вот тайная мысль Достоевского, вот крик тоскующего Ницше.

«И дух, и невеста говорят: прииди».

И все молчал старый священник, склонив свою многодумную голову, заслоняя лицо дрожащей рукой.

От руки падала тень, а из тени смотрели синие глаза священника.

Уже в соборах пропели «*Вечернее славословие*», раздавалось бряцание кадил да вздохи старичков, архиереев, увенчанных бриллиантовыми шапками.

Пророк говорил: «И дух, и невеста говорят: прииди.

«Я слышу топот конских копыт: это первый всадник.

«Его конь белый. Сам он *белый*: на нем золотой венец. Вышел он, чтоб победить.

«Он мужского пола. Ему надлежит пасти народы жезлом железным. Сокрушать ослушников, как глиняные сосуды.

«Это наш Иван-Царевич. Наш *белый* знаменосец.

«Его мать – жена, облеченная в солнце. И даны ей крылья, чтобы она спасалась в пустыне от Змия.

«Там возрастет *белое* дитя, чтоб воссиять на солнечном восходе.

«И дух, и невеста говорят: прииди».

Потом он стоял весь строгий и задумчивый.

То был белокурый, высокий мужчина с черными глазами. На ввалившихся щеках его играл румянец.

Задумчиво молчал он, и марксист, позабыв свои возражения, сбежал украдкой из *сумасшедшего* дома.

Но в открытое окно рвался белый ветерок; он нес пророку сладкие, сиреневые поцелуи. И хохотала ясная зоренька, шепча: «*милые мои*».

¹⁶ *Времена четырех всадников*. – По пророчеству Апокалипсиса, перед концом света должны явиться на землю четыре всадника – на белом, рыжем, вороном и «бледном» конях, несущие кару, суд, войну, смерть.

¹⁷ *Лестница Иакова* – лестница с земли до неба, виденная во сне Иаковом, ветхозаветным патриархом, по толкованию богословов, символизирует духовную связь бога с землей.

Дрожжиковский с жаром пожимал руки белокурого пророка, а старый священник молча обвел присутствующих синими очами и потом склонил свою седую голову на старческую грудь. Потом он заслонился рукой от света. Ветерок закачал его атласные, седые кудри. На полу лежала его черная тень.

В тот час в аравийской пустыне усердно рычал лев; он был из колена Иудина. Но и здесь, на Москве, на крышах орали коты. Крыши подходили друг к другу: то были зеленые пустыни над спящим городом. На крышах можно было заметить пророка. Он совершал ночной обход над спящим городом, умирняя страхи, изгоняя ужасы. Серые глаза метали искры из-под черных, точно углем обведенных, ресниц. Седеющая борода развевалась по ветру.

Это был покойный Владимир Соловьев. На нем была надета серая крылатка и большая, широкополая шляпа. Иногда он вынимал из кармана крылатки рожок и трубил над спящим городом. Многие слышали звук рога, но не знали, что это означало. Храбро шагал Соловьев по крышам. Над ним высыпали бриллианты звезд. Млечный путь казался ближе, чем следует. Мистик Сириус сгорал от любви. Соловьев то взывал к спящей Москве зычным рогом, то выкрикивал свое стихотворение:

«Зло позабытое
Тонет в крови!..
Всходит омытое
Солнце любви!..»

Хохотала красавица зорька, красная и безумная, прожигая яшмовую тучку.

В комнате горела красненькая лампадка. Проснулся ребенок. Он кричал звонким голосом: «Нянька». Просыпалась ворчащая нянька и укрощала ребенка. А он протягивал к ней ручки и улыбался, говоря: «Где-то трубит рог!» Нянька осенила его крестным знамением, говоря: «Христос с тобой, мой родной! Это тебе померещилось!» И ребенок засыпал улыбаясь. И нянька шла спать. Оба они слышали во сне призывный рог... Это Соловьев шествовал по крышам домов, умирняя страхи, изгоняя ужасы.

Уже заря разгоралась с новой силой, когда хилый священник приподнялся с кресла. Он говорил о вселенской любви с опущенными долу глазами. Тихий ветерок качал его атласные кудри, а губы старичка священника расплывались в грустную улыбку. Ничего он не принимал и не отвергал из сказанного, но говорил о любви. К был ветерок... И не знали, был ли он от вздыхающих, сладких сиреней или от белых слов отца Иоанна. А безумная зорька растопила яшмовую тучку и теперь хохотала, разгораясь, украсившись серебряной утреницей.

Немного сказал отец Иоанн. Потом он сидел у окна заревой, майскою ночью, склонив седую голову на грудь...

Утром возвращался Дрожжиковский с Остоженки, усталый и сонный.
Он часто зевал, потому что стоял белый день.
Ароматные гроздья сиреневого забвения висели на фоне бирюзового неба.
Над снежно-белой тучкой совершалось пурпуровое таинство.
Все это видел Дрожжиковский, спеша на Остоженку.

Шел странник с котомкой за плечами; его узенькая, седенькая бороденка задорно выставилась вперед, излучая радость всепрощения.

Уже позади него оставался сосновый лес. Над зелеными соснами стояло благословляющее солнце.

Желтовато-белые тучки, словно вылепленные из воска, рельефно выделялись на фоне небесного поголубения.

А перед ним протянулась равнина. Над равниной горели золотые и серебряные главы святынь.

Это была Москва, озаренная майскими лучами. Это была Москва в Троицын день.

Любопытно высматривал седенький странник над святынями московские тайны и радовался втихомолку.

Он был себе на уме, и ничто его не удивляло. Удивленно считал он *человеческим, слишком человеческим*.

По небу плыли желтовато-белые тучки, словно вылепленные из воску, а странник в уме ставил свечки московским угодникам.

Отец Иоанн служил в своем приходе.

Его беленькая, чистенькая церковка с серебряными главами приветно гудела во славу Св. Троицы.

Пели: «Иже херувимы». Все потели. Таинственный диакон в сияющей ризе периодически склонялся, совершая каждение.

Лучи золота врывались сквозь узкие окна и почивали на сияющих ризах; мелкий дымок фимиама мягко стлался в солнечных лучах.

Царские двери не закрывали тайн: отец Иоанн воздевал свои благословляющие руки, и атласные, белые волосы были откинута от бледного чела.

Потом низко склонялся отец Иоанн перед св. Престолом, и из его сжатых губ вырывались потоки таинственных слов.

Так замирал он неведомым символом, прерывал молитвы мечтательным вздохом.

Потом был великий выход; два ребенка, сверкая ризами, несли восковые свечи; за ними шествовал золотой диакон.

После всех тихо шел с чашей в руках отец Иоанн. Его очи блестели. Ризы сияли. Волосы сбегали снежной волной.

И склонялись церковные прихожане в лучах майского солнца.

И пока служил отец Иоанн, в соседней церкви то же делал отец Дамиан.

Служили во всех церквях; произносили те же святые слова, но разными голосами.

Священники все без исключения были в золотой парче; одни были седые, другие толстые, третьи благообразны, многие безобразны.

В Храме Спасителя служил неведомый архиерей в золотой митре.

Его посох держал церковный служка, а сам он благословлял из царских врат, перекрещивая дикирий¹⁸ с трикирием¹⁹»

Дормидонт Иванович отстоял службу; он порядком-таки пропотел и, выходя, обтирался платком.

Его толстые пальцы сжимали пятикопеечную, просфору, вынутую о здравии раба Божия Дормидонта.

У выхода его почтительно поздравил с праздником писарь Опенкин, а дома Матрена подала ему самовар.

Набожно перекрестился Дормидонт Иванович и скушал натошак просфору о здравии раба Дормидонта.

Заваривая чай, говорил кухарке: «Ну, Матрена, Бог милости прислал!»

В церкви порядком пропотел толстый столоначальник и теперь с жадностью тянул китайскую влагу.

Переулочек был облит солнцем. Мостовая белела. Вместо неба была огромная бирюза.

Дом в ложно-греческом вкусе имел шесть колонн, а на шести колоннах стояло шесть белых, каменных дев.

Каменные девы имели на голове шесть каменных подушек, а на подушки опускался карниз дома.

На асфальтовом дворике была куча сырого, красного песку.

На куче песку играли дети в матросских курточках с красными якорями и белокурыми кудрями.

Они опускали маленькие ручки в холодный песок и разбрасывали горстями песок по сухому асфальту.

На куче песку стоял маленький мальчик; его лицо было строго и задумчиво. Синие глаза сгущали цвет неба. Мягкие, как лен, волосы вились и падали на плечи мечтательными волнами.

Важно и строго держал малютка в руках своих железный стержень, подобранный неизвестно где; побивал малютка сестренку своих жезлом железным, сокрушая их, как глиняные сосуды.

Сестренки визжали и закидывали самоуправца горсточками песку.

Строго и важно стирал малютка с лица своего красный песок, задумчиво смотрел на небесную бирюзу, опираясь о жезл.

Потом он вдруг бросил железный стержень и, соскочив с песчаной кучи, побежал вдоль асфальтового дворика, радостно взвизгивая.

Извозчик провез Дрожжиковского. Дрожжиковский ехал к белокурому пророку говорить об общих тайнах.

Шел монах по модной улице; его клобук высоко поднимался над худым лицом.

На нем был серебряный крест, и он быстро шагал среди праздничного люда.

Его черная борода была до пояса; она начиналась тотчас под глазами.

Глаза были грустные и горестные, несмотря на Троицын день.

Вдруг остановился монах и сплюнул: злобная усмешка исказила суровые черты.

¹⁸ *Дикирий* – двусвечник, используемый при богослужении и знаменующий два естества Иисуса Христа – божеское и человеческое.

¹⁹ *Трикирий* – подсвечник с тремя свечами. Используется архиереем во время богослужения.

Это случилось оттого, что цинический мистик высказал еще новое соображение и напечатал его в *Полярных узорах*²⁰.

На Кузнецком мосту в окне художественного магазина выставили пророков и святителей. И казалось, пророки кричали из-за стеклянных окон, протягивая к улице свои голые руки, тряся горестными головами.

Святители же были ясны и тихонько улыбались, пряча в усах лукавую улыбку.

У окон толпились люди с разинутыми ртами.

В окна декадентского дома рвались золотые струи света.

Они падали на зеркало. Зеркало отражало соседнюю комнату. Оттуда неслись сдержанные рыдания.

Среди цветов и шелка стояла побледневшая сказка; ее красноватые волосы сверкали в золоте солнца и бледно-фиолетовый туалет ее был в белых ирисах.

На цветочном празднике она узнала о смерти мечтателя, – и вот ломала свои тонкие, белые руки осиротевшая сказка.

Дрожали коралловые губы, а по бледно-мраморным щекам катились серебряные жемчужины, застывая в ирисах, приколотых к груди.

Она стояла растерянная и рыдала, смотря в окно.

А из окна на ее слезы хохотала безумная зорька, прожигая яшмовую тучку.

Тщетны были сказкины слезы, потому что проходила пора демократов.

Волна времени смысла мечтателя, унесла его в вечный покой.

Это ей рассказала безумная заря, хохоча до упаду, и сказка рыдала над разбросанными ирисами.

А... в соседней... комнате стоял потрясенный кентавр. Он вошел в эту комнату... увидел свою нимфу в отражении.

Он стоял ошеломленный, не веря зеркальному отражению, не смея проверить коварное зеркало.

Две скорбные морщины легли на лбу доброго кентавра, и он задумчиво теребил свою изящную бородку.

Потом он тихо вышел из этой комнаты.

Сказка велела запрячь экипаж. Она хотела свезти алую розу на могилу мечтателя.

А золотой Троицын день проходил, и сменил Троицын вечер.

Память о мечтателе, сидя в маленькой лодочке, уплывала в даль изумрудного моря.

Проходили иные годы, приносили иные вести: что-то отжило свой век и покоилось на кладбище; что-то грустило в доме умалишенных; что-то сжимало сердце милой сказки.

И она, охваченная зарей, простерла к закатному свету свои тонкие, белые руки.

Казалось, она шептала: «Пусть летит моя вечная тоска в междупланетное пространство.

«И там откликнется, чтобы снова засиять».

Так долго стояла сказка, разговаривая с зарей, и казалась священным видением.

Память о мечтателе, сидя в челне, уплывала в даль изумрудного моря: это была девушка в ожерелье из слез.

А над изумрудным морем повисло облачко с опаловыми краями.

²⁰ «Полярные узоры». – Имеется в виду раннесимволистский журнал «Северный вестник», издание Мережковского и Гиппиус.

Словно мечтательный великан, оно таяло на бирюзовой эмали.
Это было заревое прощание нимфы с памятью мечтателя,
Память грустно улыбалась и гребла в неизведанную даль, потому что надвигались иные
години и несли иные вести.

Бледный аскет с золотой бородой и легким румянцем поил чаем Дрожжиковского.
Дрожжиковский в волнении плескал чаем и, хватая аскета за руки, говорил захлебываясь:
«Так вы знаете жену, облеченную в солнце?»
Но бледный аскет говорил равнодушно: «Ничего я не знаю: все это еще очень неопреде-
ленно... Пишутся только материалы... До лета нельзя делать никаких выводов...»
А из открытого окна просился в комнату золотой Троицын вечер.
Продувающий ветер бросал самоварный пар в лицо Дрожжиковскому. На него, как на
доброе ребенка, смотрел золотобородый аскет.

Золотым, Троицыным вечером умирал чахоточный. Букет белой сирени стоял у него на
столе.

Шторы были опущены. А сквозь них украдкой прорывались струи солнца.
А уж к дому подходил отец Иоанн. Его белые, атласные волосы ясно вырисовывались на
пыльной мостовой.

Вот уж скрипнула дверь, за которой прятались красные ужасы, и на пороге перед чахо-
точным стоял Иоанн.

Его синие очи были устремлены на больного, и он крестил его дрожащей рукой.

Тогда больной почувствовал отлив ужаса; он приподнялся на жаровом ложе; горько улыб-
нулся священному другу.

Жаловался Иоанну на гнетущие ужасы, а старый священник поднес к его лицу ветку
белой сирени.

Жаловался на грехи, но Иоанн снял серебряный крест свой, и холодный металл обжег
горячечные губы умирающего.

В испуге больной прижался к священному другу, крича, что боится смерти.

И перед жаровым ложем встал на молитву Иоанн. Атласные волосы были, как снег, и
бледное чело светилось безмерной кротостью.

Потом радостно склонился белый священник над умирающим и сказал с улыбкой, что
Господь зовет его к себе.

Открыл окно священник. Золотой вечер пал на больного.

И больной умер золотым, Троицыным вечером. В последний раз поцеловал его священ-
ный друг, украсив ложе белой сиренью.

Скоро слуги всполошились вокруг умершего барина, но отец Иоанн шел обратно по
пыльным улицам.

Серебряная церковка звала его мягким звоном своим совершать всенощное бдение.

Бдение еще не начиналось, но уже горели пунцовые лампадки.

Царские врата были закрыты, а изнутри занавешены красным шелком.

Но вот прошел кроткий Иоанн, отвесив поклон богомольцам.

Сейчас он отправил на тот свет своего богатого прихожанина; тот боялся отправиться в
столь далекое путешествие. Иоанн старательно снаряжал его.

А в небе клубился облаковый великан, дымный, с опаловыми краями.

Великан сгорал нежностью в холоде чистой бирюзы.

В этом сгорании была и любовь старого Иоанна, и любовь сказки к памяти мечтателя.

А память уплывала в даль изумрудного моря; это была юная девушка в ожерелье из слез.

Внутри обители высился розовый собор с золотыми и белыми главами; кругом него возвышались мраморные памятники и железные часовни.

Шумели деревья над одинокими покойниками.

Это было царство застывших слез.

Близ красного домика сидела монашенка под яблоней, ссыпанной белыми цветами.

Ее безмирные очи утонули в закатной зорьке, и розовый румянец играл на юных щеках.

Ее черный клубок возвышался над мраморным лбом. И она судорожно сжала четки.

Она влюбилась в красавицу зорьку. Та хохотала ей в лицо, освещая и монашку, и красный домик.

А из домика высунулась строгая мать-наставница и подозрительно смотрела на монашку.

Раздавался жгучий визг стрижей, и монашка бесцельно сгорала в закатном блеске.

Ее нежные руки сжимали черные четки. Высоко она подняла плечи и замирала под снежной яблоней.

Огоньки попыхивали кое-где на могилках.

Черная монашка зажигала лампадки над иными могилками, а над другими не зажигала.

Ветер шумел металлическими венками, да часы отбивали время.

Роса пала на часовню серого камня, где были высечены слова: «Мир тебе, Анна, супруга моя».

Вдруг монашка услышала шорох шелкового платья и очнулась от беспредметной нежности.

Перед ней тихо проходила молодая красавица с грустными, синими очами в бледно-фиолетовом, парижском туалете.

Ее рыжие волосы горели в закатном блеске, а ее кони храпели, поджидая у ворот обители госпожу свою...

Посмотрели они друг другу в ясные очи, у обеих были синие, синие глаза.

Обе были, как нимфы: одна в черном, а другая в бледно-фиолетовом; одна прикладывала надушенный платочек к лицу своему, другая судорожно сжимала четки, и черный клубок колыхался над мраморным личиком.

Обе поняли друг друга; у них было одинаковое горе.

И сквозь шумящие деревья взвизгивали черные касатки, да выглядывала на них шалунья зорька.

Она засмеялась задушевым смехом, послала ветерок на снежную яблоньку. И обсыпала яблонька черную монашку белыми, душистыми цветами.

И уже была ночь. Монашки, потупив взоры, расходились по своим кельям. В маленьких оконцах тухли огоньки.

Вставало то же, вечно милое и грустно-задумчивое.

Колыхались венки. Словно разгуливали усопшие и поправляли светильни в лампадках; целовали бескровными губами свежепринесенные цветы.

Но этого не было.

И только серебряный ангел продолжал стоять над часовенькой в застывшем молении, да часы монотонно отбивали время.

Время пролетало над тихой обителью легким дуновением, наклоня юные березы. И с ним вела речь безмирная женщина в черном.

Ее бледное лицо окаменело в вечной скорби и лишении, а в серых глазах отражалась туманная Вечность.

Так она стояла среди росистых могил, кое-где помигивающих огоньками, шепча еле слышно: «*Вот оно, Господи, одно, вечно одно!..*»

Ветер, шелестя металлическими венками, далеко разносил ее безмирную, святую скорбь.

Старинная часовня из серого камня вырисовывалась среди могил темным очертанием, и уже роса покрывала каменные слова: «Мир тебе, Анна, супруга моя!..»

Была святая ночь. Последнее облачко истаяло в эмалевом небе.

Эмалевое небо горело в золотых звездах; улицы были пусты, чисты и белы.

Выйдя на балкон трехэтажного дома, можно было заметить два ряда золотых, фонарных огоньков вдоль сонных улиц.

Вдали огоньки сливались в одну общую, золотую пить.

Всю ночь горизонт не засыпал, но светился. Точно горела за горизонтом святая свечечка.

Точно молился за горизонтом всю ночь Иоанн Богослов, совершая пурпуровое таинство.

На горизонте стояла длинная, узкая, янтарная тучка.

Грустя, села сказка на высокий подоконник. Смотрела на янтарную тучку.

Ее красноватые волосы рассыпались по плечам, а в лицо ей светили золотые звезды.

Завтра она уезжала из Москвы и прощалась с грезами.

...Точно горела за горизонтом святая свечечка.

Точно молился за горизонтом всю ночь Иоанн Богослов, совершая пурпуровое таинство.

Уже стоял белый Духов день. Все почивали в ясных грезах.

Только на балкон трехэтажного дома вышел человек, ни молодой, ни старый.

Он держал в руке свечу. Свеча горела белым Духовым днем.

Тут поднялся вихрь, хотя небо было безбрежно и ясно.

Серая пыль, крутясь, вставала длинными столбами.

Трубы пели и стонали, а свечка погасла в руках у стоящего на балконе.

Звук рога явственно пронесся над Москвой, а сверху неслись световые вихри, световые потоки белым Духовым днем.

Часть третья

Ветер дышал холодком. Изумрудные нивы склонялись, молясь лазурному утру.

Вдали чернела распашка.

То тут, то там попадалась лошадка, а за ней мужичок тащил плуг, переворачивая землю глубокими взрезами.

Мужички и лошадки были разные, но действие одно.

Обычному глазу здесь ничего не представилось бы, но внимательный наблюдатель рассудил бы иначе.

По пыльной дороге среди бледно-зеленой нивы ехала тройка. Ямщик в бархатной безрукавке понукал усталых лошадей.

В тройке сидел господин с белокурыми волосами в городском пальто. Он был обложен чемоданами.

Холодок затуманил стекла его пенснэ; и вот он снял протирать его, поглядывая по сторонам черными, подслеповатыми очами, напевая:

«Золотые, изумрудные, черноземные поля... Не скупа ты, многотрудная, терпеливая земля...»

Это было стихотворение Владимира Соловьева, а сидящий в тройке состоял поклонником почившего философа.

Вот ехал, ехал аскет золотобородый к брату своему в имение отдыхать после зимней сумятицы.

Вот он поглядывал вокруг себя и на нивы подслеповатыми, черными очами, шепча: «Изумрудные поля... Прекрасно выразился Владимир Сергеевич...»

«Ну ведь совсем изумрудные!..»

Но это удивление не разделял кучер в бархатной безрукавке; он чмокал губами и понукал лошадей.

От времени до времени проезжали вдоль запашек. То тут, то там показывалась лошадка, а за ней мужичок тащил плуг, переворачивая землю глубокими взрезами.

Мужички и лошадки были разные, но действие одно.

Вот огромный дед – сутулый богатырь – топтал лаптями свежевзрезанную землю, поспешая за плугом.

Вот то же проделывал хилый мужичонко, потрясая намеками бороды.

Мужички и лошадки были разные, но действие одно.

Иногда равнина прорезывалась глубокими оврагами, представляя из себя высокое плоскогорье.

Было что-то буддийское в этом чередовании равнин и оврагов.

Вспоминалось больше прошлое, чем настоящее. Это прошлое было монгольское прошлое.

Так, по крайней мере, полагал аскет золотобородый, восседавший среди чемоданов.

Он шептал про себя: «Вот она русская грусть и русская беспредметность...»

А сверху солнце уже напекало ему затылок за дерзостную мысль.

Он видел величественные обломки прошлого, а из прошлого воздвигалось будущее, повитое дымными пеленами.

Он полагал, что завершение синтетического периода той или иной культуры требует личности; только рука великого учителя может завязать последние узлы, соединить цветные ленты событий.

Он думал – отсыял свет на западе и темнокрылая ночь надвигалась из-за туманного океана.

Европейская культура сказала свое слово... И это слово встало зловещим символом... И этот символ был пляшущим скелетом...

И стали бегать скелеты вдоль дряхлеющей Европы, мерца мракотой глазных впадин.

Это он думал, но получил толчок: дорога представляла из себя ухаб за ухабом, а золотобородый аскет сказал себе: «Терпение».

«Терпение», потому что на востоке в золотых чашах еще волновалась горячая кровь, а кругом чаш стояли гиерофанты²¹, и синее благовоние возлетало к небу под звук бряцающих кадил.

Он мечтал соединить западный остов с восточной кровью. Он хотел облечь плотью этот остов.

Сидя среди чемоданов, он угадывал роль России в этом великом соединении, а кучер, поворачивая пыльное лицо свое, говорил, улыбаясь: «Не привыкли, барин, к нашим дорогам».

Но золотобородый аскет силился улыбнуться, озирая безнадежность равнин.

Он спросил, много ли осталось до *Грязиц*, и, узнав, что до *Грязиц* далеко, сорвался с чемоданов и полетел на крыльях фантазии.

Солнце становилось строгим, проникаясь раскаленной жестокостью. Вдалеке сиял крест белой церкви.

Там, где горбатая равнина закрывала горизонт, можно было видеть одинокую кучку, держащую путь к востоку.

Несли две красные с золотом хоругви, и они развевались на высоких деревьях.

Крестьянки были в красных повязках, а на синих юбках сверкало золото тесьмы; они несли изображение византийских угодников.

Шли с иконами и хоругвями в соседнее поместье молить о дожде.

Шли в одинокой кучке с развернутыми знаменами.

Это было обращение к Илии пророку. Священный призыв ливня и огненных стрел.

Это была перчатка полуденному неверию.

Скоро пропала кучка хоругвеносцев в беспредельной равнине, а вдалеке сиял крест белой церкви.

Уже аскет подъезжал к заветным *Грязицам*, перечисляя по пальцам последователей своих.

Он усердно вдвухал в их сердца печаль об огненных вихрях, чтобы зажглись они печалью и сгорели от любви.

Приходили священные дни и зывали призывно к пророкам... И пророки спали в сердцах людских.

Он хотел разбудить этот сон, призывая к золотому утру.

Он видел человечество, остановившееся как бы в сонном раздумье.

Пасомые овцы разбрелись искать себе новой истины, еще не найденной. Это был сон полуденный среди летней засухи.

²¹ *Гиерофанты* – иерофант – у древних греков старейший жрец при элевсинских таинствах – ежегодных религиозных празднествах в честь Деметры и Персефоны.

И все лучшее, что еще не спало, становилось безумием секты и бредом горячки.

Ох, знал, знал кое-что аскет золотобородый! Вот он ехал в деревню отдыхать от зимней сумятицы.

Ему нужно было покрыть куполом выведенные степы – сделать выводы из накопившихся материалов.

Он пожелал загореться проповедью перед московскими учениками; это был парод бедовый, постигший мудрость науки и философии; здесь мерцали утренницы, подобные Дрожжи-ковскому.

Это было дрожжевое тесто, поставленное в печь искусным булочником.

Многие из них уже протирали глаза от действительности, чтобы с чистым сердцем утонуть в снах.

Скоро каскад бриллиантов должен был засыпать оскудевшую страну. Скоро звезды пророчеств должны были снизойти с небес.

Небесный свод казался расписанным по фарфору.

На горизонте вставали вихревые столбы черной пыли.

Поднималась чернопыльная воронка и потом, разорвавшись, возносила пыль к равнодушным небесам.

Видел, видел аскет золотобородый и *знал* кое-что!..

Как погребали Европу осенним, пасмурным днем титаны разрушения, обросшие мыслями, словно пушные звери шерстью!

Моросил дождь, и уныло стонал ветер, заглушая слезы бедных матерей.

Они шли за черным гробом ее в одеждах, ночи подобных, с изображением черепа на мрачных капюшонах, с факелами ужаса в руках.

Они несли подушки с серебряными кистями, а на подушках лежали страшные регалии.

За гробом шли самые большие могильщики, самые страшные.

Тут был и норвежский лев, чье рыкание раздражало покойницу, и толстокожий Емельян Однодум: он держал в одной руке щепку, а в другой топор; строгал щепку, приговаривая: «По-мужицки, по-дурацки! Тяп да ляп, и вышел карап!»

И Заратустра – черная, голодная пантера, доконавшая Европу.

Был и бельгийский затворник, и французский монах в костюме нетопыря и с волшебной кадилъницей в руках.

У него на плече сидел черный кот и лизал лапу, зазывая гостей на похороны.

Тут был и певец лжи, прозябающий в темнице, и парижский маг.

И миланец, и *Макс* – курчавый пудель, твякающий на вырождение, и сэр Джон Рескин, перепутавший понятия Добра, истины и красоты, заваривший сладкую кашу современности.

И неуместная пародия на христианского сверхчеловека, кому имя *сверхбессилие*, несомая ватиканской гвардией на гнилых носилках и в бумажном колпаке.

Это была заводная игрушка, долженствующая пародировать христианство.

Чертополох бесплодный! Наследник камня придорожного! Римская приживальщица! Святейшество, сияющее электричеством!

За большими могильщиками плелись толпы малых. Они брали не качеством, но количеством.

Это были гномы, впавшие в детство; сюсюкающие старички шестнадцати вершков.

Они несли зеленые фонарики, повитые крепом, а на траурных лептах можно было прочесть: «*неврастения*», «*разврат*», «*равнодушие*», «*слабоумие*», «*мания*».

Но самая опасная мания была мания ложной учености: она заключалась в том, что человек вырывал глаза и дерзкими перстами совал в свои кровавые впадины двояковыпуклые стекла.

Мир преломлялся; получалось обратное, уменьшенное изображение его.

Это был ужас и назывался точным знанием.

Были тут и грядущие разрушители, неопишуемые в ужасе своем.

Глаза всех были устремлены в черное покрывало ночи, бесшумно распластавшееся над Северным, Немецким морем.

Казалось, это была огромная летучая мышь, заслонившая солнце.

Набежали свинцовые волны на песчаный берег и выбросили зверя с семью головами и десятью рогами.

И воскликнули великие и малые учителя мерзости: «Кто подобен зверю сему?»

Озаренный газовыми рожками, он подошел к умершей Европе, и она открыла мертвые очи свои, зашамкала беззубым ртом.

И нарумнялась, и жеманилась пред зверем, и слова ее были более чем зловещи, и она открыла мертвые очи свои и зашамкала беззубым ртом.

И тогда каждый из великих могильщиков и великих мерзавцев (так звали учителей мерзости) украсил ночную корону ее своей ложной драгоценностью.

Тут поместился красный рубин Заратустры с черным бриллиантом Гюисманса²².

Каррарский мрамор сэра Рескина с булыжником русского Однодума.

Но все Это были ложные драгоценности: они странно мерцали над париком великой блудницы.

Но все это были ложные драгоценности; багровый месяц, и все почувствовали прилив безотчетного страха.

И сказали горам: «Падите на нас!» Но горы не пали. И нельзя было спрятать от ужаса лицо свое.

И ужаснулись все до единого.

И пока он так думал, в соседнем поместье совершалось молебствие о дожде.

Среди изумрудно-желтеющей нивы развевались красные с золотом хоругви, как священные, призывные знамена.

Поп опускал в сосуд с водой березовые прутья, окроплял нивы, молясь о *благорастворении воздушных*.

Одинокий крестьянин, босой и чумазый, затерялся где-то среди нив.

И только тоскующий голос его разносился над полями.

Аскет продолжал свои фантазии. В пику темнокрылой ночи он утраивал освещение на северо-востоке.

Уже выходила на небо воскресная светильня, и святой огонь прогонял с востока ужас заразы.

На востоке не ужасались; тут издавна наблюдалось счастливое волнение; будто серафимы произвели невидимое возмущение.

И когда зверь воссел на троне с блудницей великой, появились огни пророков над святою Русью.

Ее апостол был Иоанн, чей взор проник в глубину последних веков.

Тогда явилось знамение пред лицом ожидающих: жена, облеченная в солнце, неслась на двух крыльях орлиных к Соловецкой обители,

²² *Гюисманс* или Гюисман Корнелис (1648–1727) – нидерландский живописец.

чтобы родить младенца мужского пола, кому надлежит пасти народы жезлом железным. Свершилось древнее пророчество о белом всаднике, который выйдет победить.

И была борьба великая между ратниками зверя и жены. И когда борьба достигла крайнего напряжения, можно было видеть ангела, восходящего на востоке.

Он стоял между Тигром и Евфратом; он вылил сосуд ярости Божией на запад, вопия: «Пал, пал Вавилон, город великий!»

Умертвил блудницу и зверя, связав беса на тысячу лет.

Это было первое воскресение, прообраз второго воскресения, и была смерть первая – подобие второй.

Это был знак, разгадываемый пророками.

Видал, видал, аскет золотобородый и *знал* кое-что!

Он шептал с молитвой: «Жена, облеченная в солнце, откройся знаменосцу твоему! Услышь пророка твоего!»

И вдруг грозное лицо его выразило крайнее смущение.

Ему припомнился знакомый образ: два синих глаза, обрамленных рыжеватыми волосами, серебристый голос и печаль безмирных уст.

Одной рукой она обмахивалась веером, отвечая глупостями на глупость.

Такой он видел ее на предводительском балу.

Он прошептал смущенно: «Жена, облеченная в солнце», а уж тройка подъезжала к подъезду.

На крыльце, обвитом хмелем, стоял брат золотобородого аскета, помещик Павел Мусатов, с богатырскими плечами и большой бородой.

Его лупоглазый лик смеялся и лоснился, обрамленный мягкой, как лен, белокурой бородой... В левой руке дымилась сигара.

Белую, чесучовую поддевку раздувал ветер, и он махал брату носовым платком.

В прохладной передней стояла племянница Варя, гостившая у дяди с чахоточной матерью.

Это была бледнолицая блондинка с мечтательными глазами, маленьким носом и веснушками.

Обнимались и лобызались братья Мусатовы.

Одиноким крестьянин, босой и чумазый, затерялся где-то среди нив.

И только тоскующий голос его разносился над широкими степями.

В столовой был накрыт завтрак. Здесь Павел Мусатов на радостях выпил разом шесть рюмок вишневки.

Потом он схватил хохотавшую племянницу и прошелся с ней мазурку.

Он молодежато выступал перед изумленным братом, вытопатывая глянцевоитыми сапогами.

Это был отставной гвардеец.

Девушка хохотала, и он тоже, причем его живот трясся, а на животе брелоки, и нот градом выступал на багровеющем лице.

Удивился аскет золотобородый, приехавший в деревню выводить судьбы мира из накопившихся материалов.

Но все радовались.

Вот уже брат Павел расстегнул чесучовую поддевку и вытирал носовым платком свой лупоглазый лик.

За завтраком золотобородый аскет уяснял присутствующим свое появление, очищая свежую редиску.

Он говорил, что устал от городской сумятицы и вознамерился отдохнуть на лоне природы.

Племянница Варя благоговейно внимала речам ученого дяди, а Павел Мусатов, наливая восьмую рюмку вишневки, громыхал: «И хорррошее дело!»

Был он громадный и багровый, проникший в тайны земледения, а его брат был худой и бледный, напиханный сведениями.

Помещик Мусатов вел жизнь, наполненную сельским трудом и сельскими увеселениями. Попивал и покучивал, но присматривал за хозяйством.

Он имел романические тайны, о чем свидетельствовал шрам на лбу, появившийся после удара палкой.

Он говаривал зачастую, громыхая: «Раз, прокутившись в Саратове, с неделю таскал я кули, нагружая пароходы».

При этом он засучивал рукава, обнажая волосатые руки.

Таков был Павел Мусатов, веселый владелец приветных *Грязиц*.

Жарким, июньским днем в тенистой аллее расхаживал бледнолицый аскет с книгой в руке.

Он перелистывал статью Мережковича о соединении язычества с христианством.

Он присел на лавочку; чистя ногти, сказал себе: «Тут Мережкович сделал ряд промахов. Я напишу возражений Мережковичу!»

А уж к нему незаметно подсел Павел Мусатов, закрыв широкой ладонью неподобную статью.

Он говорил сквозь зубы, сжимавшие сигару: «Это после, а теперь – купаться».

У ракитового куста аскет погружался в холодные воды, предаваясь утешению.

Он купался с достоинством, помня святость обряда, а его толстый брат остывал на берегу, похлопывая себя по голой груди.

Наконец, он кинулся в воду и исчез.

Недолго нырял. Скоро его смоченная голова вынырнула на поверхность, и он, фыркая, сказал: «Благодать».

В бесконечных равнинах шумел ветер, свистя по оврагам.

Он налетал на усадьбу Мусатова и грустил вместе о березах.

Они порывались вдаль, но не могли улететь... и горько кивали.

Это проносилось время, улетаая в прошедшее на туманных крыльях своих.

А вдали склонялось великое солнце, повитое парчовыми ризами.

Золотобородый аскет быстро шагал в тенистой аллее.

Он видел выводы из накопившихся материалов, и его черные глаза впивались в пространство.

На белокурых кудрях была надета соломенная шляпа, и он помахивал тростью с тяжелым набалдашником.

Уже многое он разрешил и теперь подходил к главному.

Вечность шептала своему баловнику: «Все возвращается... Все возвращается... Одно... одно... во всех измерениях...»

«Пойдешь на запад, а придешь на восток... Вся сущность в видимости. Действительность в снах.

«Великий мудрец... Великий глупец... Все одно...»

И деревья подхватывали эту затаенную грезу: *опять возвращается...* И новый порыв пролетающих времен уносился в прошлое...

Так шутила Вечность с баловником своим, обнимала темными очертаниями друга, клала ему на сердце свое бледное, безмирное лицо.

Закрывала тонкими пальцами очи аскета, и он был уже не Мусатов, а так *что-то...*

Что, где и когда, – было одинаково не нужно, потому что на всем *они* наклеили ярлычок потусторонности.

Уже аскет знал, что великая, роковая тайна несется на них из неисследованных созвездий, как огнехвостая комета.

Уже в оркестре заиграли увертюру. Занавес должен был взлететь с минуты на минуту.

Но конец драмы убежал вдаль, потому что еще верное тысячелетие *они* не развяжут гордиева узла между временем и пространством. События потекут по временному руслу, подчиняясь закону основания,

Деревя взревели о новых временах, и он подумал: *«Опять возвращается»*.

Ему было жутко и сладко, потому что он играл в жмурки с Возлюбленной.

Она шептала: «Все одно... Нет целого и частей... Нет родового и видового... Нет ни действительности, ни символа.

«Общие судьбы мира может разыгрывать каждый... Может быть общий и частный Апокалипсис.

«Может быть общий и частный Утешитель.

«Жизнь состоит из прообразов... Один намекает на другой, но все они равны.

«Когда не будет времен, будет то, что заменит времена.

«Будет и то, что заменит пространства.

«Это будут *новые* времена и *новые* пространства.

«Все одно... И все возвращаются... Великий мудрец и великий глупец».

И он подхватил: *«Опять, опять возвращается...»* И слезы радости брызнули из глаз.

Он вышел в поле. На горизонте румянилась туча: точно чубатый запорожец застыл в пляске с задранной к небу ногой.

Но он расплзался. Горизонт был в кусках туч... На желто-красном фоне были темно-серые пятна.

Точно леопардовая шкура протянулась на западе.

Он улыбался, увидав дорогую Знакомцу после дней разлуки и тоски.

А вдали на беговых дрожках уже катил Павел Мусатов с сигарой в зубах, молодецкато держа поводья.

Вдали чей-то грудной голос пел: «Ты-и пра-асти-иии, пра-асти-иии, мой ми-и-и-и-лааай, маа-а-ю-у-уу лю-боовь».

Павел Мусатов укатил в беспредметную даль; только пыль вставала на дороге.

Голос пел: «Ва краа-а-ююю чужом да-лее-о-о-кааам вспа-ми-на-ю я ти-бьяя».

Одинокий крестьянин, босой и чумазый, затерялся где-то среди нив...

Голос пел: «Уж ты-ии доооля маа-я го-оорь-каа-ая, доо-о-ляя гоо-оорь-кааа-аяя».

Леопардовая шкура протянулась на западе.

Одинокий крестьянин, босой и чумазый, терялся где-то среди нив...

Помещик Мусатов сидел на вечернем холодке.

Он отдыхал после жаркого дня, расправлял белокурую бороду.
Вот сейчас он ударял кулаком по столу, крича на старосту Прохора: «Шорт и мерзавец!»
А Прохор сгибал шею, морщил брови, тряс огромной бородой.
И на грозное восклицание выпаливал: «Не можем знать!..»
Но это было недавно, а теперь толстый Павел отдыхал на вечернем холодке.

В освещенной столовой племянница Варя кушала алую землянику; она накальвала яголки на шпильку и смеялась, говоря: «Вы, дядя, точно жрец... Вам бы ходить в мантии...»
Он казался странно весел и беспричинно хохотал.
Он и теперь смеялся: «Погоди, дай нам выстроить храмы... Одежды – это пустяки... Разве моя палка не жезл? Разне содома моей шляпы не золотая!»
И подняв руки над племянницей, он шутивно задекламировал:

«С головой седой верховный я жрец —
На тебя возложу свой душистый венец!
И нетленную солью горящих речей
Я осыплю невинную роскошь кудрей!»

Так шутил Сергей Мусатов – золотобородый аскет и пророк.
Потом он развернул газету и прочел о посольстве далай-ламы тибетского.
После он осведомился у Вариной матери о возможности получения лимона.
Потом Павел Мусатов читал ему лекцию о сельском хозяйстве и недородах.
Они мирно покуривали на открытой террасе. Им светила луна.

Голубой ночью племянница Варя стояла у открытого окна; она блистала очами и декла-мировала с Фетом в руках:

«С головою седой верховный я жрец —
На тебя возложу свой душистый венец!
И нетленную солью горящих речей
Я осыплю невинную роскошь кудрей!»

Но закатился ясный месяц, и небо стало исчерна-синим.
Только к востоку оно было бледно-хризолитовое.
Тени встречались и, встречаясь, сгущались; где-то вдали храпел Павел Мусатов.
В темной гостиной на мягком кресле сидела знакомая женщина.
Ее мертвенное лицо неподвижно белело в темноте.

Над уснувшим домом дерева рёвмя-ревели о новых временах.
Пролетал порыв за порывом; проходили новые времена.
Новые времена не приносили новостей. Бог весть, зачем они волновались.
И уже свет жизни брызнул из далеком небосклоне. В гостиной уже не было знакомой женщины в черном с белым лицом.
Только на спинке кресла лежал чей-то забытый, кружевной платочек...
Кричащие времена возглашали: «*Опять возвращается!*» И уже полнеба становилось бледно-хризолитовыми.
У самого края горизонта был развернут кусок желтого, китайского шелку.

Это были дни полевых работ, дни выводов из накопившихся материалов; дни лесных пожаров, наполнявших чадом окрестность.

Дни, когда решались судьбы мира и России; дни возражений Мережковичу.

И все ясней, все определенной вставал знакомый образ с синими глазами и печалью уст. То было снежно-серебряное знамя, выкинутое на крепости в час суеверных ожиданий.

Утром напивался чаем аскет золотобородый, рассуждал с братом, шутил с племянницей. Потом делал выводы из накопившихся материалов.

Потом предавались они с братом водному утешению и ныряли между волн. Потом составлялись соборные послания московским и иным ученикам.

В них раскрывались догматы христианства и делались намеки на возможность мистических ожиданий.

Курс московских учеников разросся, и сеть мистиков покрыла Москву.

В каждом квартале жило по мистик; это было известно квартальному.

Все они считались с авторитетом золотобородого аскета, готовящегося в деревне сказать свое слово.

Один из них был специалист по Апокалипсису. Он отправился на север Франции наводить справки о возможности появления грядущего зверя.

Другой изучал мистическую дымку, стусившуюся над миром.

Третий ехал летом на кумыс; он старался поставить вопрос о воскресении мертвых на практическую почву.

Четвертый ездил по монастырям интервьюировать старцев.

Иной боролся в печати с санкт-петербургским мистиком, иной раздувал искорки благодати.

Дрожжиковский ездил по России и читал лекции, в которых он моргал и подмигивал что есть мочи.

Получалось впечатление, что он *знает*, а он возлагал знание на золотобородого пророка.

Для других, неведающих, его лекции уподоблялись комоду с запертыми драгоценностями.

Он прочел уже шесть лекций и теперь вчерне приготовил седьмую.

Подъехала франтовская тройка, подвозя Павла Мусатова к соседям по имению.

На подъезде встречало Мусатова знакомое семейство, осведомляясь о причине столь долгого забвения Павлом Мусатовым их гостеприимного очага.

На что приятно раскланивался Павел Мусатов, прищелкивая лакированными сапогами, он поднял хозяйскую ручку к пунцовым устам своим и заметил: «У меня гостит мой ученый брат!.. Мы, знаете, беседуем о том, о сем... И время летит незаметно».

На вопрос же, отчего он не привез к ним ученого брата, Мусатов отрезал лаконически: «Сидит сиднем... занят обширным исследованием...»

Все это было принято к сведению любопытным семейством.

В ягодном саду племянница Варя гуляла с подругой своей, Лидой Верблюдовой.

Вдруг она поцеловала длинную шею Верблюдовой и сказала: «Дуся, приезжай поскорее к нам в *Грязищи*... я тебе покажу ученого дядю...»

Осведомилась Верблюдова о наружности ее ученого дяди, а подруга ее, прищурясь, теревала в руках кончик косы, лукаво смеялась...

И ничего из ответила.

Горели деревни. Агент земского страхования разъезжал по уезду.

Заезжая в усадьбы, он неизменно говорил, жуя ветчину или намазывая ее горчицей: «А Павел Павлович возится с братом, с ученым...»

И на вопрос, что это за птица, отвечал выразительным взглядом рачьих глазок: «Сидит сиднем в *Грязицах*... занят обширным исследованием!»

В уездном городе пировали два обывателя.

На столе бутылки были пусты, а глаза сидящих пьяны.

Один из сидящих хватил другого по колену и сказал: «Опрокинем, брат, еще по одной... хе, хе... где уж... хе, хе... нам до учености Сергея Мусатова...»

На что его товарищ мрачно заметил: «Идет».

Дом был темно-серый и старинный. Над открытой террасой была повешена каменная маска.

Неподвижно бледнело строгое лицо, казавшееся от вечерней зари нежно-розовым.

На открытой террасе восседал Павел Мусатов, осыпанный алым блеском.

Под поддевкой вздувался толстый живот его, и правая рука была опущена на бороду.

Левой рукой он теребил брелоки; перед ним на столе лежала пепельница и спички.

Два юных тополька склонялись, словно зачарованные, трепеща и тая от вечных сказок.

У реки раздавались крики тоскующих чибисов.

Грустно задумался лупоглазый Павел на вечерней заре.

Наконец он чихнул и сошел со ступенек террасы, завидев гостя.

Ему вслед смеялась маска застывшим, каменным смехом.

Приближалась буря. Над усадьбой стоял шум и рев. Коренастые деревья, обуреваемые ветром, рвались прочь отсюда.

Приближались полосы ливня и уже висели над пашней.

Серые цапли пронеслись над свинцовой рекой.

Учитель сельской школы был поджар и сутул. Его землистое лицо было темнее лысинки, но светлее бородки, а расплоснутый нос задорно торчал из-под синих очков.

Это был молодой человек, тяготеющий к народу.

Они шли с Павлом Мусатовым вдоль желтеющей аллеи; твякающий голос учителя спорил с шумом деревьев.

Землистое лицо, казалось, гримасничало, а длинные руки совершали нелепые движения под свинцовым сводом небес.

Коренастые деревья, обуреваемые ветром, рвались, прочь отсюда.

На крашеной лавочке сидел золотобородый аскет и дослал выводы из накопившихся материалов.

А учитель презгливо думал: «Вот сидит *гнилой* мистик!»

«Весь он пропитан *лампадным* маслом, и *квасной* патриотизм его мне претит».

Им навстречу поднялся мистик, который не был гнил и совсем не пил квасу.

Он был химик по профессии, и перед ним молодой учитель неоднократно срамился незнанием точных наук,

Шли ужинать. Сельский учитель из читающих развертывал фронт умственного войска своего и делал наскоки на *гнилого* мистика.

Еще была только редкая канонада. Еще не дошло дело до картечи.

Еще оставался впереди запас личных оскорблений.

На оконных стеклах угас розовый отблеск; за стеклом глядело на идущих мертво-бледное лицо.

Точно великая Вечность приникла к окну.

Но это был букет белой ковыли и больше ничего.

Павел Мусатов не участвовал в споре. Он напевал, вылупив глаза: «Ночь пронесется на крыльях тумана, грозная туча застелет восток!»

Туча была страшная и высоко размазанная, а под ней два низких, зловеще-белых завитка неслись куда-то вбок.

На лужайке перед домом два молодых тополька шептались с бурей, точно зачарованные.

На оконных стеклах угас отблеск заката. Букет белой ковыли стоял на окне.

Учитель сельской школы разгорался пред молчавшим аскетом, а Павел Мусатов тихонько напевал: «Светлая радость померкнет, как зорька; горе, как туча, неожиданно придет...»

Уже вошли в комнату и захлопнули дверь, когда завывла тощая психа, поджимая хвост; ее узкая морда была обращена к небу.

Она ужасалась и, казалось, вопила: «*Возвращается, опять возвращается*», а два зловеще-белых завитка уже висели над домом.

За рекой раздавались крики тоскующих чибисов.

Аскет молчал пред шумевшим учителем, потому что он был по ту сторону жизни.

Это был сплошной сон наяву.

Это были откровения: Вечность шутила с баловником и любимцем своим; эти вечные шутки – точно сладкая музыка раздавалась в тоскующей душе пророка.

Пророк знал, что он вырвался из тенет трех измерений. Люди называли его безумцем: это был добрый знак.

Пророк уже знал, что он глашатай Вечности.

Он слишком учился для того, слишком тосковал, слишком мною снял покровов, слишком полюбил Вечность,

Слишком ярки были грезы: это был сон, подымавшийся над Россией, как милое безумие.

Это были шутки Вечности с баловником и любимцем своим.

Каменная маска над террасой хохотала и в хохоте онемела.

За рекой раздавались крики тоскующих чибисов.

Этот сон сжег действительность. Она рассеялась черным пеплом.

«Пусть, пусть это только грезы, – думал пророк, – но пусть хоть раз мир поиграет в эти сны, замечается в фантазиях.

«Что тогда помешает реальности этих грез?»

Так он думал, а уже сердце его замирало от сладкой печали, а уже ему в очи смотрели иные очи, синие... А уже тополя пыли густым басом под напором пролетающей Вечности.

Это неслись сны наяву, ревушим потоком, и старики тополя, воздымая костлявые руки свои, ликовали и кричали нараспев: «Се же-нин-ии-их гря-дет в поо-лууу-уу-ноо-щии».

За окнами был рев и крик; ругались, и визжали, и молились неизвестные голоса.

Он видел Москву, а над Москвой громады туч с льдистыми верхами, а на туче жена, облеченная в солнце, держала в объятиях своих священного младенца.

А у ног ее распластался сам верховный пророк и глашатай Вечности.

Бриллианты сверкали на митре и на кресте, а золотая бородка утопала в куполе туч.

Из-под тучи, как молния, лезвие Божьего меча разило негодников.

А вдали Антихрист бежал обратно на север Франции.

Сквозь общий крик старики тополя, как державные архиереи, воздымая костлявые руки свои, ликовали и кричали нараспев: «Чее-ее-ртооо-оо-оог Твоей ви-ждуу, Спааа-аа-се мой».

И опять, как всегда, два синих, печальных глаза, обрамленных рыжеватыми волосами, глядели на аскета.

Была улыбка и печаль. Был вопрос: «Неужели *это* правда?..»

С любопытством стояли у окна и смотрели на бурю.

Бил град. Летели обломленные ветки. Где-то в доме треснуло стекло.

То тут, то там высывалось на мгновенье окровавленное лезвие меча, и зычный, архи-
диаконский голос возглашал: «Пррррок-лятие!»

То еще не был Разящий, а лезвие меча среди туч.

Вечером шипел самовар. Безмолвно сидели вокруг стола.

Безмолвно зияла ночь, прильнув к окнам, и смотрела на сидящих.

Старинные часы плавными взмахами отбивали время.

Сестра разливала чай. Золотобородый аскет помешивал ложечкой в стакане.

Варя теребила копчик косы. Павел Мусатов взял в руки гитару.

Вдруг сутулый учитель заговорил твякяющим голосом; разинув рот, выпускал заряд за зарядом.

Его расплюснутый нос задорно сверкал на противника, а щеки Вари вспыхнули ярким румянцем.

Но ревнивый учитель не смотрел на Варю. Смотрел Павел Мусатов, натягивая новые струны на старую гитару.

Потом он кашлянул, вздохнул и покачал головой.

Но этого не заметил его брат.

Самовар шипел.

Кто-то прильнул к окнам, зияя впадинами глаз.

Но там никого не было.

Учитель кричал: «Это безумие!» Варя блестела негодованием на учителя.

Павел Мусатов толстым пальцем пробовал струну,

Взоры аскета сверкнули грозой, потому что он припомнил долгие годы изучения наук и философии.

Он отрезал своим деревянным голосом: «Если я и безумен, то это только потому, что прошел все ступени здравости!»

Встал и, зевая, подошел к окну.

Вдруг Павел Мусатов забренчал на гитаре *персидский мари*.

Принесли почту. Золотобородый аскет прочитал письмо. Он сказал брату: «Завтра я еду в Москву».

Толстый Павел стоял за спиной Вари. Он сказал брату: «И хорошее дело».

Он глазами указывая на поникшую племянницу.

Варя быстро вышла из комнаты.

Бледные губы учителя кривились, хотя он равнодушно закуривал папиросу.

Но аскет, погруженный в мысли, ничего не заметил,

Он вышел в сад.

Тянулась ночь. Звенели бутылки. Павел Мусатов спаивал учителя.

Голова учителя лежала на столе. Он кричал: «Любовь к ближним!»
Весело грохотал багровеющий Павел. Его лицо лоснилось и потело.
Одной рукой он ударял по столу; другой поднимал над головою осколок рюмки.
На скатерти были винные пятна. Над ними кружились мухи.
Гитара с оборванными струнами валялась на полу,

В соседней комнате было темно. Здесь была Варя.
Из ее глаз катились слезы. Она кусала маленький платочек.
Она уронила платочек на спинку кресла, а сама вышла в сад.
И платочек белел на спинке кресла, как будто это было чье-то лицо, зловещее и мерт-
венно-бледное.
Но здесь никого не было.

Всю ночь гулял аскет в саду, объятый мраком.
Жаркая грудь его вздымалась от вечных сказок.
Ему писали, что семейство грядущего *зверя* найдено и что *зверь* еще не вышел из пеленок.
Это был пока хорошенький мальчик, голубоглазый, обитающий на севере Франции.
И аскет кричал в ночных аллеях: «Вот мы воздвигнем на зверя *жену*, *облеченную в солнце*, как священную, снежно-серебряную хоругвь!»
Ночной сторож бил в железную доску.

Над тоскующими деревьями летело время ревушим потоком.
Разорванные облака уходили на туманный запад.
Слоено кто-то, нечистый, бежал обратно на север Франции.
И стоял аскет на коленях, в грязи, с поднятыми к небу руками.
Он кричал в исступлении: «Тат твам аси!»²³ – и бил себя в грудь...
Светало.

И когда он входил в дом, уже на дворе было светло.
В столовой совершалось утреннее пьянство, озаренное висячей лампой.
Черные мухи облепили уста учителя, а Павел Мусатов, шатаясь, подошел к брату.
Обдавал его пьяным дыханием, бия себя в грудь.
Бормотал: «Шорт Прошка... Поперек дороги... Ревнив, как диавол...»
И, грохнувшись на колени перед аскетом, закричал: «Сергей, я безумно влюблен, но *она*
– пейзаж... И ее ревнует ко мне староста Прохор...»
Он был красен, как баклажан. Аскет говорил ему: «Не пейте больше, а то вы сгорите от
пьянства!..»

Аскет смотрел на брата и на хилого учителя. Учителя облепили черные мухи.
Висячая лампа боролась с дневным светом. Гитара валялась на полу.
Аскет думал в священном ужасе: «Вот она – *апокалиптическая мертвенность!*»
Светало. Заглянув в окно, можно было видеть старика, ночного сторожа, тащившегося
спать в кусты.
Можно было видеть на востоке кусок желтого, китайского шелка.
А над ним небо было бледно-хризолитовое.
Светало.

²³ Это все ты.

Дело было к вечеру. Моросил дождь. Над ветлами кричали грачи.
На крыльцо вышел Павел Мусатов провожать брата Сергея.
Тройка рванула, гремя бубенцами. Павел Мусатов остался один на крыльце.
Он стоял в синей, суконной поддевке и махал брату носовым платком.
Лицо его было красней обыкновенного. Под глазами были мешки.
Он пошел на гумно.

Бабы мели гумно. Одна из них, увидав Павла, покраснела.
Павел не глядел на баб.
Он отвернулся от старосты Прохора, стоявшего перед ним с обнаженной головой.
Было холодно.

Вечером он стоял на террасе с Варей и молча курил сигару. Не заговаривал.
Варя поняла его молчаливое сочувствие.
За рекой пели: «Ты-и-и пра-а-сти-и-и, пра-а-сти-и-и, мой ми-ии-ии-лааай, маа-аа-юу-
уу любо-оовь...»

Из стены высунулась голова Вечности и печально повисла над стоящими.
Это была только маска.

Гробовая фата развевалась над полями.
В полях ехал Сергей Мусатов, повитый осенним туманом.
Он думал: «Это ничего... Это только отблески страха...
«Это с запада наплывает туманная мертвенность... Но еще мы поборемся...
«Еще не все кончено...»

На западе тучи разорвались. Багряно-огненный перст вознесся над туманными полями.
Озаренное лицо аскета улыбалось, хотя было холодно.
Но тучи закрыли горизонт...
День потухал, как печальная свеча,

Часть четвертая

Лето улетело на крыльях времени. Унеслось в тоскующую даль.
Проползла осень. И все, к чему ни коснулась она, облетело, пролило туманные слезы.
Старушка зима уже давно таскалась вдоль российских изменностей; шамкала и грози-
лась.

К тому времени г-жа Николаева изрыгала пламень из уст своих, аки картечица²⁴.
Свалились два миллионера, подкошенные Смертью. Один знаменитый писатель чуть не
положил жизнь за други свои.

Великое возмущение произошло среди московских мистиков: Дрожжиковский, воюя,
встал на Сергея Мусатова, подстрекаемый Шиповниковым, с. – петербургским мистиком.

Были словеса многи... И примыкали к Дрожжиковскому, который пышно всходил.

Партия Дрожжиковского слилась с партией хитроумного Шиповникова... И к ним при-
соединился Мережкович.

Оставшиеся теснее сплотились вокруг золотобородого, с надеждой обращали к нему
взор.

Ждали знамений.

С Воронухиной горы открывался горизонт. Из темных туч сиял огненный треугольник.

Собирались народные толпы и видели в том великое знамение.

Долго не расходились, толкуя.

Один пришел к другому, красный от ходьбы.

Не снимая калош, кричал из передней;

«Священные дни начались над Москвой!..»

«Пойдем, брат, высматривать их морозным вечером!..»

«Воссияла на небе новая звезда!»

«Восходом ее ждем воскресения усопших... Недавно видели почившего Владимира
Соловьева, как он ехал на извозчике в меховой шапке и с поднятым воротником!»

«Перед *видевшим* распахнул шубу Владимир Соловьев, показал себя и крикнул с извоз-
чика: «Конец уже близок: желанное сбудется скоро».

Оба очутились на морозном холодке, и морозный холодок выкрасил им носы.

Быстро зашагали, свернув в пустой переулочек. Как опытные ищейки, высматривали бла-
годать.

Заглядывали в окна и на чужие дворы. И сверкала очами.

Трубы выли. Ворота домов скрипели. Обнаженные деревья свистели, скрежеща ветвями.

Млечный путь спускался ниже, чем следует. Белым туманом свисал над их головами.

Снег хрустел под ногами прохожих. Там, где днем стояла лужа, был голый лед... И слу-
чайный проходимец летал вверх пятами, пародируя европейскую цивилизацию.

Пара рысаков мчала ее вдоль озаренных улиц... И она, озаренная, взором впивалась в
белые снега.

На ее щеках показался морозный румянец, а в очах отразилось вечное стремление.

Коралловые губы побледнели.

Вчера был вечер, а сегодня готовился бал... А вот сейчас она предавалась снеговому
восторгу.

²⁴ См. газеты за июнь. (Примеч. авт.)

Как царица, неслась на крыльях фантазии, и ветер свистал, обдавая ее холодком.
Это были вечные рассказы о том, чего нет, и что могло бы быть, да не вышло.
И взор ее был устремлен в бездонное, и во взоре ее светилося бездонное.
Вот летела она, как священное видение, подымая снежную пыль.

Церковь Неопалимой Купины была заперта. Тем не менее изнутри ее отворили.
Стояли на паперти, никем не замеченные.

Один был в огромной шубе и меховой шапке, а другой в ватном пальто и в зимнем картузе.

Оба были высоки, худы и сутулы. Один казался бы церковным дьячком, если б не золотые очки, которые он сиял с носа и протирал носовым платком.

Из-под его картуза вырывалась львиная грива серых волос. Серая борода была подстрижена.

Он посмотрел на ясную звезду, от которой протянулась золотая нить, и сказал, прищуриваясь: «А что, Владимир Сергеевич? Ведь это вспыхнувшая денничка!»

Вокруг его рта и глаз показались добрые морщинки. Он запер церковь.

Оба зашагали вдоль Полуэктова переулка, оживленно беседуя между собой.

На Девичьем поле они сидели на лавочке, занесенной снегом; закинули головы к небу, рискуя потерять в снегу Свои шапки.

Рассматривали небо добрыми, близорукими глазами.

Глядели на Млечный Путь, а Млечный Путь сиял белым туманом, невозвратной мечтой и прошлой юностью.

Тот, на ком была меховая шапка, сказал глухим басом: «То ли еще они увидят впоследствии!»

Вдалеке оголенные метлы дерев потрясали черными руками, прося священного дуновения.

Они долго молчали, совершая таинство. Наконец тот, на ком был ватный картуз, завизжал внезапно, как ребенок.

Он ударил рукой по мерзлой скамейке и кричал, тряся львиной гривой волос и серой бородой: «Эээ!.. Да неель-зяя же так, Влади-мир Серге-евич! Они нас совсем скомпрометируют своими нелэээпыми выходками!.. Это, наконец, ди-ко!»

Тут он начал сокрушать выводы Сергея Мусатова, а сидящий рядом захохотал, как безумный. Стучал ногами от хохота, распахнув свою шубу.

Его черная, седеющая борода развевалась по ветру, а Деревя трясли черными руками, прося священного дуновения.

Млечный Путь сиял белым туманом своим, невозвратной мечтой и прошлой юностью.

Наконец, пересилив смех, он сказал: «Это ничего, Барс Иванович: первый блин всегда бывает комом»,

Двое прохожан вздрогнули от этого священного хохота, но не потрудились взглянуть в лицо хохотавшего.

Если бы они увидели, ужас и умиление потрясли бы их взволнованные души.

Они узнали бы старых друзей.

Долго еще сидели на лавочке, тихонько разговаривали между собой.

Потом они ходили по Москве и заглядывали в окна к друзьям; принимали к холодным стеклам и крестили своих друзей.

Не один друг слышал постукиванье вьюги в окне, не одни друг поднимал к ночным окнам свои недоумевающие глаза, прищуриваясь от лампового света.

Он и не знал, что стучатся к нему бывшие друзья, что крестят его своими призрачными руками.

Так ходили вдоль Москвы оба скитальца.

Наконец, грустно вздохнув, они скинули окрестность прощальным взглядом... Удалились до радостного свидания.

В Новодевичьем монастыре, среди могил, они пожали друг другу руки, расходясь на покой.

За широким столом восседал сам основатель неохристианства, сделавший выводы из накопившихся материалов, прошедший все ступени здравости, пришедший на высшей ступени венец священного безумия.

Подле него сидело таинственное лицо, вернувшееся из Индии, – участник таинственных мистерий.

Это был загорелый мужчина с длинным носом, бритый и с золотой серьгой в ухе.

Был тут и теософ, приехавший из Лондона, в модном галстуке и с рыжими усами.

Был тут и другой, знакомый, застывший в деланной позе; он много слушал, мало говорил.

Сиявший хозяин ходил между гостями, потирая белые руки, а его окружали мистики кольцом, вопрошая: «Кто сидит в этой деланной позе?»

На что тихо отвечал хозяин, приложив руку к устам: «Это бывший кантианец, разочарованный в своих идеалах... Искатель истины, побывавший в желтом доме, но и там ее не нашедший...»

«Недавно его отпустили на свободу, и он пришел познакомиться с нашими взглядами. Будемте уловлять его в наши сети...»

Мистики посматривали на искателя истины, а он на них.

В одном углу спорили о видении Соловьева, а в другом завзятый мистик учил воскрешать мертвых.

Он божился, что много трудился в этом направлении и уже достиг кой-каких результатов. Усомнялись.

Приходили новые гости с лицами, красными от мороза. Приходил батюшка Иоанн в черной, шелковой рясе, расправлял атласную седину.

Молча садился за зеленый стол, молча оглядывал шумное собрание; в синих глазах, глазах ребенка, ты увидел бы грусть.

Говорил Сергей Мусатов: «Приблизилось... Опять возвратилось... Началось...»

«Вы все были свидетелями того, глядя на звезду, сиявшую, как и 1900 лет назад...»

«Ныне она вновь нам светит!»

Мужчина с серьгой в ухе переглянулся с рыжеусым теософом, а Мусатов продолжал:

«Он рос в тишине до того часа, пока явление его миру не стало необходимым... С часу на час ждал его объявления...»

«Но я не ввожу вас в заблуждение относительно чаши, которую нам должно выпить: это борьба с Грядущим Зверем.

«Ныне он растет в Западной Европе.

«Ныне весь мир с содроганием глядит на страны, обнимающие Бельгию, Голландию и север Франции...»

«Поэтому да будет священна мать нашего белого знаменосца, – жена, облеченная в солнце!»

Речь пророка была коротка. Выражения более чем странны. Но еще странней зазвучал голос таинственной особы из Индии.

«Сонные грезы... Мне знакомо... *Я знаю...* Вы утопаете в снах, проклиная обманчивую реальность...

«Но ведь грезы – та же реальность, тот же обман... Вы еще не поспали без грез...»

Он закинул свою бритую голову, и блеснул серьгой, и каркнул черным вороном на все собрание: «Доколе, доколе они не познают тебя, о, карма!»

Мистики отправились пить чай, священник посмотрел на часы, теософ расправил рыжие усы свои, а особа из Индии погрузилась в беспредметность...

Пророк поднял голову, взглянув на морозные узоры окон, говорил недогнувшим голосом, отвечая на возражения: «Только сон без грез?

«Странно было бы, если бы мы не прошли эту ступень, когда спали и не видели грез...»

«Но когда мы увидели то, чего еще никто не видел, – то *проснулись, вернулись обратно...*»

Батюшка Иоанн вынул из кармана черные очки, надел на свои больные, синие очи и просматривал бумаги, лежавшие на столе.

Обернувшийся Мусатов ждал возражений от бритого мужчины с серьгой в ухе, но мужчина даже и не слушал Мусатова.

Он погружался в беспредметность, изучая безгрезное состояние.

Возразил батюшка, сказав робко: «Вы ошибаетесь!»

И когда вспыхнувший аскет был готов обрушиться на дерзкого батюшку, сверкая черными бриллиантами глаз, —

тогда батюшка несколько не испугался, но снял очки и внимательно рассматривал аскета.

Тут вмешался теософ еврейского происхождения. Крутя рыжие усы, затянул он свою мурлыкающую песенку.

В модном галстук он походил на хитрого кота, когда пожимал руку пророку, объясняясь: «Между нами и вами много общего... Мы ратуем за одно...

«Наш девиз – пансинтез²⁵... И нравственность мы не отделяем от знания. Религия, наука, философия – все это отличается между собою количественно, но не качественно...»

Но раздосадованный пророк освободил свою руку и заметил надменно: «Знаем ваши заботы о синтезе... Видим, каковы они...

«Мы не нуждаемся в гностических бреднях, и ваши друзья, индусы, нас не прельщают.

«Мы не дети: любим чистое золото, а не мишуру...»

«Строя храм, вы сравниваете купол, увенчанный крестом, с основанием... Кто видел подобное построение?

«Соединяйте себе, а мы будем подчинять...»

«Впрочем, мы с вами еще объяснимся... Заходите ко мне на чашку чая...»

Здесь остановился золотобородый пророк, потому что его бросил в дрожь милый образ: это была *жена, облеченная в солнце*.

Это он видел... И поймал на себе синий, Иоаннин взор, взор ребенка, светящийся порицанием.

Но батюшка сделал вид, что рассматривает бумаги...

Вся осыпанная бриллиантами, *она* стояла у морозного окна.

Звездный свет сиял где-то там, и она, осиянная звездным светом и лупой, в белом платье своем походила на священное видение.

²⁵ *Пансинтез* (от греч. *pan* – всё) – всеобщий синтез.

Она ехала на бал, а сейчас стояла у окна и вспоминала то, чего нет, но что могло бы быть, да не вышло.

Душа грустила и, грустя, веселилась... И, грустя, вырастала до неба!..

...И вот сверкнула на голове ее диадема из двенадцати звезд... И она, оторвавшись от морозного окна, продолжала собираться на бал...

И в синих очах ее была такая ясность и такая сила, что две звезды скатились с лунного неба, трепеща от дружеского сочувствия...

Уже на извозчике ехал теософ, везущий с собою таинственную особу из Индии...

Таинственная особа из Индии равнодушно зевала. А теософ нравоучительно толковал:

«Все это вздор... Они идут против здравого смысла...»

«Здравый смысл научает терпению: только через пять лет возможны неожиданности...»

«Еще пять лет... Еще пока ни о чем нельзя говорить утвердительно, ранее 1906-го года».

Таинственная особа из Индии равнодушно внимала голосу здравого смысла...

Она зевала.

Уже отец Иоанн, надев широкие калоши, окутанный шубой, выходил на лунную ночь.

...Он думал: «Игрушки... Но опасные игрушки».

Был морозец. Снег поскрипывал под ногами.

Одинокие дворы пели от затаенной грезы: «*Возвращается... Опять возвращается*». И батюшка плотней закутался в свою шубу.

Он многое *знал*, но до времени молчал.

Ночью спали. Кто-то видел сон.

Стоял индус на берегу Ганга с цветком лотоса в руках.

Индус поучал: «Наши знания не мишура, а чистое золото...»

«И у нас был свой Кант, свой Шеллинг, свой Гегель, свои позитивисты...»

«Вот еще!.. Нашли чем удивлять!»

«Поучитесь-ка мудрости у Шри-Шанкара-Ачарии²⁶ и у Потангали!.. Что вы знаете о *брахмане*²⁷ Веданты и о *пурушах*²⁸ Самкхьи...»

Так поучал индус спящего и отражался в волнах вверх ногами с цветком лотоса в руках.

Пришла масленица. Москвичам напекли жирных блинов.

Дни были снежные. Звенящие тройки утопали в столбах метели.

Ждали объявления священного младенца. Не знали того, кто младенец, ни того, кто облечена в солнце.

Возлагали знание на аскета.

Слишком много тот учился, слишком тосковал, слишком много снял покровов, слишком полюбил Вечность.

Вечность зажгла новую звезду для баловника и любимца своего, и теперь весь мир любовался диковинкой.

Вечность указала запечатленного младенца и жену, облеченную в солнце.

И пока он так думал и не думал, поднимались и укрошались вьюги.

Тройки, звеня бубенцами, утопали в снежной пыли.

²⁶ Шри-Шанкар-Ачария (Шанкарачарья или Шанкара) (788–820) – индийский религиозный реформатор, философ, один из учителей и проповедников учения *веданты* – наиболее распространенного индийского религиозно-философского течения.

²⁷ *Брахман* – в индуизме член высшей жреческой касты.

²⁸ *Пуруши* – пуруша – одно из основных понятий индийской философии, означающее дух, сознание, духовное начало в его абсолютной противоположности материи.

Что-то, ласковое, шептало; «Я не забыла вас, милые мои... Скоро увидимся!»

Один сидел у другого. Оба спускались в теософскую глубину.

Один говорил другому: «Белый свет – свет утешительный, представляющий собою гармоничное смешение всех цветов...»

«Пурпурный свет – ветхозаветный и священный, а красный – символ мученичества».

«Нельзя путать *красное* с *пурпурным*. Здесь срываются».

«Пурпурный цвет нуменален, а красный феноменален».

Оба сидели в теософской глубине. Один врал другому.

Сквозь густой белый дым разгоралась заря, заливаясь розовым смехом; аскет проснулся и, зевая, потянулся к ночному столику за часами.

Вскочил с постели и, вспоминая предстоящее свидание, послал воздушный поцелуй морозной зорьке.

Смеялся, как малое *дитё*.

Тут ему подали письмо с севера Франции. Он разорвал конверт и читал, протирая сонные очи.

Ему писали, что *Зверя* постигло желудочное расстройство, и он отдал Богу душу, не достигши пяти лет, испугавшись своего страшного назначения.

В смущении теребил аскет свою золотую бородку, шептал: «А Апокалипсис?»

Надевши пенснэ, перечитывал письмо.

Наконец он быстро стал одеваться, и руки его дрожали от волнения.

А в окне над белыми снегами хохотала пунцовая зорька, безумная, взбалмошная, как малое *дитё*.

Белым деньком некто разговаривал со старушкой Мертваго, слушая интимные песни вьюги.

В окне был виден двор, занесенный снегом, и с края крыш свешивались массивные, ледяные сосулька.

Это был ни старый, ни молодой, но *пассивный* и *знающий*, и в разговоре со старушкой он выражал неудовольствие по поводу образа действий московских мистиков.

Он говорил, что их ждет разочарование, потому что они избрали неверный путь.

Он жалел и тосковал, следя отуманенным взором, как оледные вихри снегов, вивясь, застилали от взора его ледяные сосульки.

Казалось, он говорил себе: «Так, Господи! Они *не видят* себя!»

Но старушка Мертваго не хотела понять его интимной сказки и советовала обратиться с жалобой.

В гостиной стояла сказка. Посмотрев на карточку, она сказала: «Проси...»

Машинально поправила свои рыжеватые волосы, машинально пошла навстречу золотобородому пророку, очаровательно улыбнувшись!

Глава неохристиан был бледен. Черные бриллианты не сверкали из-под опущенных ресниц.

Пушистое золото волос пало на задумчивое чело. В длиннополом сюртуке он казался повитым тайной.

Он воскликнул про себя: «*Жена, облеченная в солнце*». Он воздевал про себя свои руки, совершая мистерию.

А перед ним стояла сказка и вопросительно улыбалась, удивлялась появлению аскета, любезно приглашала садиться.

Аскет сообщал, что он явился с отказом от лекции, которую кентавр предложил ему прочесть о мистицизме на благотворительном вечере в пользу вдов и старух.

Время у него было занято, и он никак не мог обременять себя лишним трудом. Небрежно слушала сказка его сообщение, желая поскорее его спровадить.

«А теперь мы поставим этот валик», – сказал жилистый генерал и, счистив с валика пыль мягкой кисточкой; вставил его и пустил в ход граммофон.

Из трубы вылетали гортанные звуки: «О ее-сли бы вы-скаа-заа-аать мооо-жнооо всю сии-луу стра-дааний моо-их...»

Вечерняя заря хохотала над Москвой, и Мусатов сказал в волнении: «Не удивляйтесь... Я имею сообщить вам нечто важнее... Когда я могу к вам явиться...»

Он покраснел, и удивленная сказка нетерпеливо ему заметила: «Но ведь у нас приемный час ежедневно от двух до четырех!»

В эту минуту раздвинулась портьера. Вбежал хорошенький мальчик с синими глазами и кудрями по плечам.

Это, конечно, был младенец мужского пола, которому надлежало пасти народы жезлом железным.

«Милый мальчик, – сказал Сергей Мусатов, сделав нечеловеческое усилие, чтобы не выдать себя. – Как его зовут?»

Но смеялась сказка, обратила запечатленное лицо свое к малютке, поправила его локоны и с напускной строгостью заметила:

«Нина, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не входила сюда без спросу».

Нина надула губки, а сказка весело заметила аскету: «Мы с мужем одеваем ее мальчиком».

Смеялась зорька, как малое дитё, вся красная, вся безумная.

Провалилось здание, построенное на шатком фундаменте; рухнули стены, поднимая пыль.

Вонзился нож в любящее сердце, и алая кровь потекла в скорбную чашу.

Свернулись небеса ненужным свитком, а сказка с очаровательной любезностью поддерживала светский разговор.

Вся кровь бросилась в голову обманутому пророку, и, еле держась на ногах, он поспешил проститься с недоумевающей сказкой.

«А вот, если я поставлю этот валик, то вы услышите Петра Невского, веселого гармониста и песенника», – выкрикивал генерал, восторженный и жилистый.

И уже из трубы неслись гортанные звуки, слова, полные плоскости, а после каждого куплета Петр Невский приговаривал под звуки гармоники: «Ккарраа-шшооо-оо, ккарраа-шшоо-оо-оо, иеттаа очень ккар-рааа-шшооо-оо...»

«Первый блин, да комом», – сказал повар в белом Колпаке, глядя на неудавшийся блин.

«Ну, ничего, авось другие выйдут...» И с этими словами он бросил блин жадному псу.

В булочной Савостьянова осведомились, имелись ли Дрожжи в запасе, и, когда узнали, что дрожжи израсходованы, распорядились о закупке новых дрожжей.

Оканчивалось дневное представление Художественно-Общедоступного театра... За туманным пологом седой мечтатель вел свою белую женщину к ледникам, чтобы облечь ее в солнце.

Сорвалась лавина с пылью и грохотом, унесла их в вечный покой.

А сама Вечность стояла на скале в своих черных ризах, и голос ее звучал, как чересчур натянутая струна.

Это не было действительностью, но представлением... И *они* быстро задернули занавес, потому что нечего было представлять.

Один сидел у другого. Оба говорили умные вещи.

Один говорил другому: «Если красный свет – синоним Бога Отца, красный и белый – синоним Христа, Бога Сына, то белый – синоним чего?»

«Мы уже прожили красный свет, видели Пришедшего *не водою только, но и кровью...* Теперь мы увидим третье царство, царство *белое*, слово *новое...*»

Один восторженно махал пальцем перед носом другого... Другой верил первому.

У Поповского болели зубы...

На углу стоял бродяга и указывал прохожим на свою наготу, распахнувшись перед ними. Слева шел студент, а справа аскет... И обоим им бродяга указал перстом свою наготу, распахнувшись перед ними.

Слева шел студент, а справа аскет... И обоим им бродяга указал перстом свою наготу.

Студент презирал частную благотворительность, а Мусатов не заметил бродяги.

Вечность шептала баловнику и любимцу своему: «Я пошутила... Ну, и ты пошути... Все мы шутим...»

На заигрыванья Вечности обманутый пророк горделиво отмалчивался. Поднимал бобровый воротник.

Это не была *жена, облеченная в солнце*; это была обманная сказка. Но отчего ее образ жёг огнем Сергея Мусатова?..

Он шептал: «Не надо, не надо!» А за ним тащился бродяга и, затаив смрадное дыхание свое, старался запустить руку в карман Мусатова.

Десять лет боролся бродяга с капиталом; регулировал собственность и неоднократно побывал в кутузке.

А уже был вечер. Москвичи безобразничали вовсю.

В ночлежных домах толклись хитровцы и золоторотцы.

В балаганах бряцали бубны, и размалеванный паяц выбегал на холод корячиться перед собравшимся людом, зазывая в притон ломанья.

Это веселье отличалось от истинного, которое гармонично, как настроенный оркестр... *Здесь* же попались сухие щепки.

Кто-то бил в турецкий барабан, и карусель дико вертелась, сверкая огненными полосами кумача, мишурным золотом и цветными лампочками.

Деревянные львы раздирали свои рты, а на них сидели верхом картузники, грызущие подсолнухи.

Загородные рестораны мерцали зловещими сотнями, стараясь газом и электричеством прикрыть свою мертвенность.

В театре Омона обнаженные певицы выкрикивали непристойности.

Ужасное омертвление повисло над городом. Факелы ужаса и бреда мерцали по обеим сторонам тротуаров.

Лихорадочное движение не закрывало ужаса, еще более обнаруживая язвы.

Казалось, мстители шумели над городом своими невидимыми крыльями.

Ждали *утешителя*, а надвигался *мститель*...

Озаренный фонарными огнями пророк все еще шатался по улицам.

Он зашел в ресторан, чтобы потопить в вине сосущее горе.

Это он делал в первый раз. Вспоминал брата Павла. Глотая замороженное шампанское, он восклицал в отдельном кабинете: «Не надо... Не надо... Куда мы летим? «Не пора ли остановиться?..»

Был концерт. Пел Шляпин. Он пел о судьбе, как она грозит.

Вызывали Шляпина. Говорили о Шляпные. Выходил Шляпин на вызов.

Закручивая каштановые бакенбарды, выступал в антрактах багровый Небарин, раскладываясь с присутствующими, припоминая отсутствующих.

Аристократическому старичку улыбалась очаровательная сказка, словно была она ангелом, а зала – царствием небесным.

Так стоял высокий, седой Кандиславский, с черными усами, а здесь толстый кентавр вел под руку изящного брюнета с закрученными усами сквозь культурные толпы, а кругом шептали: «Смотрите, вот идет известный писатель Дрожжиковский!»

Шелестели шелковые платья.

Но все уселись по местам, и вышла певунья, осыпанная бриллиантами.

Слушала сказка певунью, утомлялась жизненной суетой.

Сегодня был официальный обед, а вчера приемное утро, а вот сейчас она могла не улыбаться, но фантазировать.

Певица, сверкая бриллиантами, в пении вытягивала шею и выводила: «Гдее жее тыы, раа-даасть быы-лаааа-аа-ааа-аа-аая?.. Ах, иистаа-мии-лаааась устааа-лаа-аяя».

Неподвижная, как изваяние, она стояла в черном клобуке, и в воздетых руках виднелись вечные четки.

Бледно-мраморное личико застыло в бесслезном рыдании. Как и сказка, она скучала под безлунным небом.

Обе томились, обе скучали, обе ткнулись к безмирному.

У обеих было одно горе.

Ветер, проносясь над тихой обителью, колыхал металлические венки на засыпанных снегом могилах. И венки шелестели: «Где же тыы, раа-даасть быы-лаааа-аа-ааа-аа-аяя?.. Ах, иистаа-мии-лаааась устааа-лаа-аяя!..»

Пьяный и красный, он уплатил по счету и, слегка пошатываясь, вышел из ресторана.

Образ *жены, облеченной в солнце*, смеялся ему в лицо. Он слышал знакомое слово: «Мы с мужем одеваем ее мальчиком...»

Тут поскользнулся пьяный Мусатов и полетел вверх пятами, пародируя европейскую цивилизацию.

Поднимаясь, отряхивался от снега и шептал: «Куда мы летим... Не надо, не надо!»

Поднимал брововый воротник.

А над ним нависала мертвенность, раздавался шум невидимых крыльев.

Раздавались мстительные крики.

Они указали ему на открытую дверь. Он внял *их* совету.

Не вините его, почтеннейшие! *Они* сами ему нашептывали: «Здесь разрешишь свое недоразумение».

И он вошел в проклятое место, и задремавший швейцар не осведомился, что ему нужно.

Они указали на дверь, а на двери *они* приколотили дощечку с надписью.

Над столом спускалась висячая лампа, какие бывают во всяком казенном заведении.
На столе стоял графин и стакан.
На полу сидел красноносый, рыжий толстяк в белом колпаке и нижнем белье.
Он поднимал указательный палец и внятно читал лекцию невидимым.

«Положим, у меня в распоряжении металлическая труба.

«Я вбиваю ее в землю, покрыв печной заслонкой отверстие. Я привожу болванов и, сняв перед их носом печную заслонку, обнаруживаю дыру».

Безбровый толстяк, окончив свою лекцию, самодовольно осматривался. Но тут с шумом распахнулась дверь. Оттуда выскочил худой кривляка с нависшими, черными бровями, грозным взглядом и всклокоченной шевелюрой.

Он был в нижнем белье и на босу ногу. Он закашлялся, как чахоточный, увидав вошедшего Мусатова. Он подскочил к кряхтящему толстячку и шепотом велел ему молчать.

На что босоногий лектор возопил гласом велиим: «Петруша, разреши мне выкрикнуть еще только один ужасик!»

«Вы, вероятно, явились выведывать тайны, милейший мой: я к вашим услугам». С этими словами он усадил Мусатова и сам уселся перед ним, прижимая руку к груди, чтобы сдержать свой сухой кашель...

«Сюда редко заходят. Я нахожу это непростительным легкомыслием: то обстоятельство, что вы видите нас, делает вам, сударь, честь...

«Ну-с?.. Что скажете?»

К тому времени оторопелый Мусатов, понявший, *в чем суть*, спросил: «Какие величайшие истины в мире?»

«Все утончается, дифференцируюсь...»

«Я это сам хорошо знаю», – заметил разочарованный Мусатов, отчего кривляка вдруг пришел в неописанный восторг.

«Неужели? – кричал он, – вы дошли до *этого!*»

«Конечно: у нас это знает любой гимназист четвертого класса».

«Уж не знаете ли вы и того, что все возвращается?» – вопил ломака с пояснительными жестами.

«Как же, знаю и это, – досадовал Мусатов, – и не за этим пришел...»

«В таком случае мне больше нечему учить вас, ученейший», – визжал Петенька, корча злорадную гримасу, всплеснув руками в притворном изумлении...

«Пожалуй, сообщу вам тайну тайн, чтобы вы успокоились: *тайн нет*».

Висячая лампа коптила, как во всяком казенном заведении. Смердная копоть заставляла чихать Мусатова.

Мусатов окончательно огорчился ломакиной ложью и, ударив по столу кулаком, неожиданно для себя громыхнул: «Не проведете, голубчики!»

Пьяный и наглый, он напоминал теперь своего брата, Павла.

«Ты не смеешь не верить, – зашелестел Петр, как осенний ветер, наклоня грозное лицо свое к лицу Мусатова, обрызгивая его слюной, как дождем: – Потому что *я – сущность, вещь сама по себе!*»

Залпом выпил Мусатов несколько стаканов воды, схватил себя за голову и горел, как в лихорадке; в ушах его раздавались слова заговорившего толстячка: «Положим – стоит афри-

канская жара... Я раздеваюсь донага и валяюсь на муравьиной куче... Множество маленьких насекомых впиваются в мое тело!»

Толстяк ползал по полу и хохотал, хохотал до упаду.

«Неужели мне открылся мир четвертого измерения?» – думал Мусатов, ужасаясь устройством этого мира, а сущность вещей в образе Петрушки подсказывала: «Да, да, да, да, да! Миллион раз да! Это – так называемый мир четвертого измерения!.. Дело в том, что его не существует вовсе... Люди исколесили три измерения вдоль и поперек. Они все узнали, но не утомонились, узнавши. Подобно горьким пьяницам, им нужно все больше и больше водки, хотя водка-то вышла и бутылка пуста... Ну, вот они и придумали у себя за стеной какое-то четвертое измерение... Ну, вот они и колотят в стену, желая пробить брешь в это четвертое измерение... Пусть поберегутся! – орал он так, что стены дрогнули, и при этом блеснули белые зубы его и белки глаз. Пусть поберегутся, сотому что *Мститель* жив... Чу! Над нами шум зловещих крыльев, точно над Гоморрой в день ее гибели!»

«Но за стеной есть что-нибудь?» – шептал Мусатов, помертвев.

«Такая же комната, с такими же обоями, как во всяком казенном заведении, с таким же чудачком, который, бия кулаком в стену, воображает, что за стеной есть что-то иное... Пусть побережется, потому что Мучитель, как огромный, мохнатый паук, расставляет сети безумцу, чтобы насладиться воспламененной кровью его!»

Так сказав, Петр нахмурил свои нависшие брови, и зеленые молнии с ужасающей яростью заблестали в диких очах. Но он быстро погасил эти огоньки, закатил глаза и казался потухшим вулканом.

Мертвенно-бледный, сидел в глубоком безмолвии.

«Ну, а смерть?» – вопрошал Мусатов.

«Смерть – это перевод жильца из комнаты № 10000 в комнату № 10001, если на то имеются надлежащие бумаги», – сказал грозовой Петр, очнувшись, восстав из мертвых.

Висячая лампа медленно потухала, когда лакей во фраке принес господам по стакану чаю с баранками.

«Может быть соединение между Западом и Востоком?»

И ему в ответ Петр-Гроза: «Какое тут соединение: ведь Запад смердит разложением, а Восток не смердит только потому, что уже давным-давно разложился!»

«Но кому же улыбается будущее?»

Тут произошло маленькое затруднение: сущность вещей схватилась руками за свои сползающие кальсоны и присела от изумления; потом, стуча рукой по высокому лбу, качала укоризненно головой: «Эхма!.. Что ж ты, батенька?.. Проник в наши тайны, а не знаешь азбучной истины!»

Потом она вылила графин холодной воды на голову Мусатову, приговаривая: «А негр?.. А негр?»

«Так негр», – сказал пророк совершенно упавшим голосом, оправляя волосы, мокрые от воды.

«Негр, негр! Конечно, негр!.. Черномазый, краснотубый негр – вот грядущий владыка мира!»

Тут Мусатов уронил голову на стол и замер в порыве пьяного отчаяния.

Забавный толстяк читал новую лекцию невидимым.

«Я разрезаю живот... Вытаскиваю и прочищаю кишки... Отрезав нужный мне кусок кишки, я сшиваю отрезанные концы,

и дело в шляпе», – восторженно закончил он свою лекцию, а уже его попирал босоногий Петр, шепча лихорадочно: «Опять за старое, седой греховодник!»

Но толстяк жалобно умолял: «Голубчик Pierre, разрешите мне выкрикнуть еще только один ужасик!»

На что Петр сказал в каком-то буревом затишье, не предвещающем ничего хорошего: «Молчи, и не обнаруживай старые язвы!»

Но этого уже не слышал Мусатов, сбегая с лестницы.

Он шептал: «Что это, Господи? Что же это такое?»

Он чуть не сшиб с ног черномазого негра, который гордо шел вдоль освещенной улицы в изящном цилиндре и с иголки одетый.

Любопытный негр посмотрел по сторонам и нагло думал: «Где же Москве до Чикаго!»

Под влиянием этой гнусной мысли губастая рожа улыбалась.

И над этим Содомом слетались грозные коршуны на смрадную падаль, радуясь желанному омертвлению.

А босоногие чудаки после ухода Мусатова мирно сидели за столом. Каждый помешивал ложечкой в стакане с чаем.

Над их головами образовалась странная особенность: это была пара настоящих рожек, выросших Бог весть почему и откуда...

Толстый говорил худому: «А ты искусник, а ты обманщик, а ты лгун, Петенька?»

При этом он хихикал.

Но его веселья не разделял Петр, ворча: «Пожалуй, он догадается, в чем сила... *Ведь они – хитрые...*»

Мне кажется, что вы увидели бы, господа, двух, которые сидели на могилах.

Оба были высоки, худы и сутулы; борода одного развевалась по ветру, а из-под черных, точно углем обведенных, ресниц грустно смотрели серые глаза.

Другой был в зимнем картузе и золотых очках.

Один сказал другому: «Мне, Барс Иванович, все-таки жаль Мусатова, несмотря на его гордыню и самонадеянность!»

А другой закричал: «Ээ! Да нельзя же, Вла-ди-мир Сер-ге-е-вич, спускать им всякую нелепость!»

«Ведь мусатовские выводы – это выводы сапожника!»

Быть может, это мне показалось, господа, и среди могил стояла только тоскующая красавица в бесслезных рыданиях, с вечными четками и в черном клубке...

Ночью все спали. Бедные и богатые. Глупые и умные. Все спали.

Иные спали, скорчившись. Иные – разинув рты. Иные казались мертвыми.

Все спали.

И уже белый день сердито просился в окна. Казалось, что это был новый призыв к переутомленным. Побуждение к новому ломанью.

Утром звонил колокол, потому что окончилось веселье и надвигалось великое уныние.

На рынках продавались сушеные грибы, и была мягкая слякоть.

С крыш капала сырость. Зловещее небо грозило туманной весной.

В кабинете сидел знаменитый ученый, развалившись в кожаном кресле, и чинил карандаш.

Белые волосы небрежно падали на высокий лоб, прославленный многими замечательными открытиями в области наук.

А перед ним молодой профессор словесных наук, стоя в изящной позе, курил дорогую сигару.

Знаменитый ученый говорил: «Нет, я не доволен молодежью!.. Я нахожу ее нечестной, и вот почему:

«Во всеоружии точных знаний они могли бы дать отпор всевозможным выдумкам мистицизма, оккультизма, демонизма и т. д. Но они предпочитают кокетничать с мраком...

«В их душе поселилась любовь ко лжи. Прямолинейный свет истины режет их слабые глаза.

«Все это было бы извинительно, если бы они верили в эти нелепости... Но ведь они им не верят...

«Им нужны только пряные несообразности...»

Молодой профессор словесных наук, облокотись на спинку кресла, почтительно выслушивал седую знаменитость, хотя его уста кривила чуть видная улыбка.

Он возражал самодовольно: «Все это так, но вы согласитесь, это эта реакция против научного формализма чисто временная.

«Отметая крайности и несообразности, в корне здесь видим все то же стремление к истине.

«Ведь дифференциация и интеграция Спенсера обнимает лишь формальную сторону явлений жизни, допуская иные толкования...

«Ведь никто же не имеет сказать против эволюционной непрерывности. Дело идет лишь об искании смысла этой эволюции...

«Молодежь ищет этот смысл!»

Знаменитый ученый грустно вздохнул, сложил перочинный ножик и заметил внушительно: «Но зачем же все они ломаются! Какое отсутствие честности и благородства в этом кривляньи».

Оба они были не правы.

В чистенькой комнатке протоиерея, отца Благодосклонского, золотобородый пророк разливался в жалобах.

Сюда он прибежал бледный и растерянный, и батюшка Иван держал его холодные руки.

«Что *это*, батюшка, что *это* такое? *Это* не было ни сном, ни действительностью?»

«Сердце мое кровью обливается, и я весь горю огнем!»

Тихо склонялся белый священник над головой ужасающегося. Ласкал своим синим взором, взором ребенка.

Молча гладил его золотые кудри, сердце аскета болезненно сжималось от этой старческой ласки.

А ласковый батюшка вопрошал шепотом: «Сильно ли ты любишь ее?»

И – растерянный ребенок – он поверял батюшке свои обманные грезы, как другому ребенку, старому и невинному.

На дворе была тающая слякоть, и от пасмурных туч лицо священника казалось морщинистым и желто-зеленым.

«Но что же это такое было вчера? Кто они? Неужели наяву происходят такие ужасы?»

Тут батюшка весь понурился, точно уличенный в провинности. Казалось, он был обвит чуть видимым, туманным флером.

Наконец, он сказал, потрянув кудрями, безнадежно махнув старенькой рукой: «Не пытайся углубляться, вопрошая, что сие?»

«Все бывает... Но об *этом* нужно молчать...

«Разве я не вижу, что все мы летим куда-то с головокружительной быстротой!»

«Разве я не понимаю, *что это* означает!

«Вот и сейчас: разве ты не видишь, что между нами есть что-то наносное, вредное, ужасающее!»

Аскет посмотрел на понурый образ старика, подернутого туманным флером; старик тревожно схватился за шейный крест.

Посмотрел кругом золотобородый и понял, *что не все было, как следует.*

Они молча взглянули друг на друга, и Сергей Мусатов прошептал: «*Так и наплывает... Так и наплывает отовсюду!*»

Они молча перекрестились, и батюшка прочитал: «Да воскреснет Бог!»

Потом усадил отец Иван Сергея Мусатова и тихонько вел речь об общих тайнах:

«Теперь, когда ты в несчастье, а душа твоя сгорает от любви, *они* кружатся над тобой невидимым облаком, ужасной тучею, вгоняя в отчаяние, развертывая свиток ужаса...

«Люби и молись: все побеждает вселенская любовь!»

Немного сказал Иоанн о вселенской любви, ничего не принимая и не отвергая, но от этих слов повеял белый ветерок, разогнал *ужасную стаю.*

Вместе с белым батюшкой они стояли на тающей мостовой, повитой мрачным туманом.

Батюшка отправился служить вечерню, а Мусатов нанял извозчика и поехал домой, намереваясь уложиться и сегодня же вечером укатить к брату, Павлу, сгорающему от пьянства в деревне.

На перекрестке двух улиц извозчик остановился, потому что развернулась похоронная процессия.

Везли усопшего столоначальника в последнее убежище.

Скончался Дормидонт, раб Божий, после непродолжительной, но тяжелой болезни.

Так проходило гробовое шествие, которое открывал служитель похоронного бюро без шапки.

Он держал в своих руках маленький образ, обернутый белым полотенцем.

День угасал, как печальная свеча.

«Мне скучно... Эта жизнь меня не удовлетворяет...

«Я улыбаюсь, как кукла, а душа просит того, чего нет, но что могло бы быть, да не вышло».

Сказка разрыдалась у окна, поднося к синим очам надушенный платочек.

И молчал поникший кентавр, в огорчении кусая ногти.

Он делал все зависящее, чтобы развлекать любимую жену.

А она рыдала у окна, шепча: «Скучно, скучно!» Машинально смотрела, как на улице дворники счищали грязную слякоть.

На улице зажгли фонарь... И вот сверкнула в чудных волосах ее бриллиантовая звезда...

И она походила на священное видение.

День угасал, как печальная свеча.

Вдоль снежных равнин протянулся рельсовый путь, Вдоль рельсов бежал поезд.

В вагоне было холодно. Мусатов сидел, закутавшись в шубу.

Перед ним возникала сказка. Она язвительно смеялась ему в лицо своими коралловыми губами, а он шептал: «Люблю...»

За перегородкой в соседнем отделении говорили двое.

Один кричал: «Не говорите... Мы кое-что *знаем*, кой-чего *ожидаем*... Интересуемся Евангелием...»

Другой возражал: «Чепуха...»

Мистические выходки озлобили печать. Либералы, народники и остатки былых марксистов, соединившись, разгромили своих малочисленных противников, опираясь на общественное мнение.

Одна статья обратила на себя внимание, и автор ее стал популярен.

Она была озаглавлена: *мистицизм и физиология*... И мистики не нашлись, что возражать.

До того огорчились они, узнав о бегстве Мусатова из Москвы, видя угасание новоявленной звезды.

Один только Шиповников, санкт-петербургский мистик, поднял брошенную перчатку и ответил заметкой, которая начиналась и оканчивалась словами: *ну так что ж?*

Приходили новые времена.

Новые времена не приносили новостей. Бог весть затем волновались.

Над Москвой чуть было не разразилось ужасное бедствие.

С товарным поездом приехала в Москву старушка. Выйдя на площадку с корзиной в руке, она остановила обер-кондуктора и вытащила из корзины черного петуха.

На вопрос изумленного кондуктора, что это значит, ответила: «В прошлом году некто видел соя: отверзлись в церкви трижды Царские врата, и выходили трижды оттуда петухи: белый, красный и черный.

«Белый означал урожай, красный – войну, а черный – болезнь.

«Мы ели хлеб, мы дрались с желтым монголом, а теперь мы будем умирать...»

Вредная старушка была удалена из Москвы, а про петуха забыли.

Он стал бегать по Москве, и с тех пор начались чумные заболевания.

Но энергичные меры пресекли ужас.

Вечером была заря. Небо было малиновое... Беспредметная нежность разливалась по всей земле.

На Воронухиной горе стоял некто *спокойный и знающий*, подняв воротник ватного пальто: на нем была надета фуражка с кокардой.

Он смотрел на фабрики и огороды, расстилавшиеся перед его взором, и была такая сила в этом взоре и такая вера в этих чертах, что, казалось, – умерли страхи.

Кончик его носа слегка покраснел от холода, и он сказал: «Так, Господи! *Я вижу Тебя*».

Он пошел на чашку чаю к старушке Мертваго,

У старушки Мертваго сидел отец Иоанн. К ней позвонили.

К ней пришел ни старый, ни молодой, но *пассивный я знающий*. Она представила гостя отцу Иоанну, приветливо заметив: «А вот Алексей Сергеевич Петковский... Вы о нем уже не раз слышали, батюшка».

И батюшка смеялся, и батюшка протягивал гостю своя старые руки, радостно замечая: «Побольше бы нам таких!»

У старушки Мертваго они сидели с батюшкой за круглым столом. Самовар шипел и бросал теплый пар им в лицо.

В окно было видно, как темнело синее небо и потихоньку высыпали бриллианты звезд.

Старушка Мертваго наливала им чаю, и они тихо беседовали между собой.

Отец Иоанн говорил: «Это была только первая попытка... Их неудача нас не сокрушит... Мы не малoverны, мы *много* узнали и *многого* ждем...»

«Они стояли не на истинном пути. Они погибли... Мы ничего не выводим, ни о чем не говорим... Мы только ждем, Господи, Славу Твою.

«И разве вы не видите, что *близко*... Что уже *висит над нами*... Что недолго осталось терпеть... Что неожиданное близится...»

И на это собеседник отца Иоанна ответил, допивая вторую чашку чаю: «Так, Господи! Я знаю Тебя...»

И они молчали... И они молча слушали *вечное приближение*... И, казалось, – *что-то летело с шумом и пенем*...

И, казалось, – где-то за стеной *близилась чьи-то шаги*...

И старушка Мертваго тоже молчала, тоже слушала *вечное приближение*, перемывая чашки.

А уже была ночь... Высыпали бриллианты звезд.

Млечный Путь спускался ниже, чем следует. Сиял белым туманом, невозвратной мечтой и прошлой юностью.

А в палисаднике дерева, воздымая костлявые руки свои под напором свежего ветерка, ликовали и кричали нараспев: «Се же-ни-ни-иных гря-де-т в поо-ллуу-ууу-ууу-нооо-щиии!»

И опять была юная весна. Внутри обители высился розовый собор с золотыми и белыми главами. Кругом него возвышались мраморные памятники и часовенки.

Шумели деревья над одинокими покойниками.

Это было царство застывших слез.

И опять, как и год тому назад, у красного домика цвела молодая яблоня белыми, душистыми цветами.

Это были цветы забвения болезней и печалей, это были Цветы нового дня...

И опять, и опять под яблоней сидела монашка, судорожно сжимая четки.

И опять, и опять хохотала красная зорька, посылая ветерок на яблоньку...

И опять обсыпала яблоня монашку белыми цветами забвения...

Раздавался визг стрижей, и монашка бесцельно сгорала в закатном блеске...

И опять, и опять между могил ходила молодая красавица в весеннем туалете...

Это была сказка...

И опять, и опять они глядела друг на друга, она и монашка, улыбались, как знакомые друг другу.

Без слов передавали друг другу, что еще не все потеряно, что еще много святых радостей осталось для людей...

Что приближается, что идет, милое, невозможное, грустно-задумчивое...

И сказка, как очарованная, стояла среди могил, слушая шелест металлических венков, колыхаемых ветром.

Перед ней раскрывалось грядущее, и загоралась она радостью...

Она *знала*.

Огоньки попыхивали кое-где на могилах.

Черная монашка зажигала огоньки над иными могилками, а над иными не зажигала.

Ветер шумел металлическими венками, да часы медленно отбивали время.

Роса пала на часовню серого камня, там были высечены слова: «Мир тебе, Анна, супруга моя!»

1901 г.